А. П. ЧЕХОВ

СТЕПЬ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

А. П. ЧЕХОВ · СТЕПЬ

Степь

Антон Павлович Чехов

Аннотация
Антон Павлович Чехов. СТЕПЬ. История одной поездки
СТЕПЬ. (История одной поездки)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
ДОПОЛНЕНИЯ. ИЗ ПИСЕМ СОВРЕМЕННИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
М. П. Громов. «СТЕПЬ» КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАМЯТНИК
И. Г. Птушкина.
В. М. КОНАШЕВИЧ — ИЛЛЮСТРАТОР ЧЕХОВА
ПРИМЕЧАНИЯ
СТЕПЬ. (История одной поездки)
ДОПОЛНЕНИЯ. ИЗ ПИСЕМ СОВРЕМЕННИКОВ

Аннотация

Повесть Антона Павловича Чехова, написанная в 1888 году по впечатлениям автора от поездки по Приазовью весной 1887 года. Была впервые опубликована в журнале «Северный вестник», 1888, № 3.

…Дядя Иван Иванович везёт своего малолетнего племянника Егорушку учиться в гимназию. Их сопровождает добрый, но практичный священник, настоятель местной церкви отец Христофор (Сирийский). Племянник грустен оттого, что покинул родной дом. По дороге он встречает много новых людей: красивую графиню Драницкую, обозчиков, семейство евреев, богатого купца Варламова…

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



Антон Павлович Чехов
СТЕПЬ
История одной поездки



А.П. Чехов. 1887 г.
Фото Е. Овчаренко

А. П. ЧЕХОВ

СТЕПЬ

История одной поездки

Издание подготовил
М.П. ГРОМОВ

МОСКВА "НАУКА" 1995

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
"ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ"

Д.С. Лихачев (почетный председатель), *В.Е. Багно*,
Н.И. Балашов (заместитель председателя), *В.Э. Вацуро*,
М.Л. Гаспаров, *А.Л. Гришунин*, *Н.Я. Дьяконова*,
Б.Ф. Егоров (председатель), *А.В. Лавров*,
А.Д. Михайлов, *И.Г. Птушкина* (ученый секретарь),
И.М. Стеблин-Каменский, *С.О. Шмидт*

Ответственный редактор
И.Г. Птушкина

ч 4603000000–065
042(02)–95 191–95, I полугодие

ISBN 5-02-012715-9

© М.П. Громов, составление, статья, примечания, 1995
© И.Г. Птушкина, статья, 1995
© Российская академия наук, 1995
© Издательство "Наука", оформление, 1995

СТЕПЬ
(История одной поездки)

СТЕПЬ.

(Исторія одной поѣздки).

I.

Изъ М., уѣзднаго города С—ой губерніи, раннимъ іюльскимъ утромъ выѣхала и съ громомъ покатила по почтовому тракту безрессорная, ошарпанная бричка, одна изъ тѣхъ допотопныхъ бричекъ, на которыхъ ѣздятъ теперь на Руси только купеческіе приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтѣла и взвизгивала при малѣйшемъ движеніи; ей угрюмо вторило ведро, привязанное къ ея задку—и по одинмъ этимъ звукамъ, да по жалкимъ, кожанымъ тряпочкамъ, болтавшимся на ея облѣзломъ тѣлѣ, можно было судить о ея ветхости и готовности идти въ сломъ.

Въ бричкѣ сидѣло двое м—скихъ обывателей: м—скій купецъ, Иванъ Иванычъ Кузьмичовъ, бритый, въ очкахъ и въ соломенной шляпѣ, больше похожій на чиновника, чѣмъ на купца, и другой — отецъ Христофоръ Сирійскій, настоятель м—ской Николаевской церкви, маленькій, длинноволосый старичокъ въ сѣромъ парусиновомъ кафтанѣ, въ широкополомъ цилиндрѣ и въ шитомъ, цвѣтномъ поясѣ. Первый о чемъ-то сосредоточенно думалъ и встряхивалъ головою, чтобы прогнать дремоту; на лицѣ его привычная дѣловая сухость боролась съ благодушіемъ человѣка, только-что простившагося съ родней и хорошо выпившаго; второй-же влажными, глазками удивленно глядѣлъ на міръ Божій и улыбался такъ широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра; лицо его было красно и

Первая страница "Степи" в журнале "Северный вестник" (1888, № 3)

I

Из N., уездного города Z-ой губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная, ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении; ей угрюмо вторило ведро, привязанное к ее задку, — и по одним этим звукам да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, можно было судить о ее ветхости и готовности идти в слом.

В бричке сидело двое N-ских обывателей: N-ский купец Иван Иваныч Кузьмичов, бритый, в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца, и другой — отец Христофор Сирийский, настоятель[1] N-ской Николаевской церкви, маленький длинноволосый старичок в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом, цветном поясе. Первый о чем-то сосредоточенно думал и

---

[1] Примечания: 1

…настоятель… — Старший священник в православной церкви.

встряхивал головою, чтобы прогнать дремоту; на лице его привычная деловая сухость боролась с благодушием человека, только что простившегося с родней и хорошо выпившего; второй же влажными глазками удивленно глядел на мир Божий и улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра; лицо его было красно и имело озябший вид. Оба они, как Кузьмичов, так и о. Христофор, ехали теперь продавать шерсть. Прощаясь с домочадцами, они только что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили… Настроение духа у обоих было прекрасное.

Кроме только что описанных двух и кучера Дениски, неутомимо стегавшего по паре шустрых гнедых лошадок, в бричке находился еще один пассажир — мальчик лет девяти, с темным от загара и мокрым от слез лицом. Это был Егорушка, племянник Кузьмичова. С разрешения дяди и с благословения о. Христофора, он ехал куда-то поступать в гимназию. Его мамаша, Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичова, любившая образованных людей и благородное общество, умолила своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собою Егорушку и отдать его в гимназию; и теперь

мальчик, не понимая, куда и зачем он едет, сидел на облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтоб не свалиться, и подпрыгивал, как чайник на конфорке. От быстрой езды его красная рубаха пузырем вздувалась на спине и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на затылок. Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать.

Когда бричка проезжала мимо острога, Егорушка взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие решетчатые окна, на крест, блестевший на крыше, и вспомнил, как неделю тому назад в день Казанской Божией матери, он ходил с мамашей в острожную церковь на престольный праздник; а еще ранее, на Пасху, он приходил в острог с кухаркой Людмилой и с Дениской и приносил сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину; арестанты благодарили и крестились, а один из них подарил Егорушке оловянные запонки собственного изделия.

Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо и оставляла всё позади. За острогом промелькнули черные, закопченные кузницы, за ними уютное, зеленое

кладбище, обнесенное оградой из булыжника; из-за ограды весело выглядывали белые кресты и памятники, которые прячутся в зелени вишневых деревьев и издали кажутся белыми пятнами. Егорушка вспомнил, что, когда цветет вишня, эти белые пятна мешаются с вишневыми цветами в белое море; а когда она спеет, белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, как кровь, точками. За оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкин отец и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили в длинный, узкий гроб и прикрыли двумя пятаками ее глаза, которые не хотели закрываться. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком, теперь же она спит, спит…

А за кладбищем дымились кирпичные заводы. Густой, черный дым большими клубами шел из-под длинных камышовых крыш, приплюснутых к земле, и лениво поднимался вверх. Небо над заводами и кладбищем было смугло, и большие тени от клубов дыма ползли по полю и через дорогу. В дыму около крыш двигались люди и лошади, покрытые красной пылью…

За заводами кончался город и начиналось поле. Егорушка в последний раз оглянулся на

город, припал лицом к локтю Дениски и горько заплакал…

— Ну, не отревелся еще, рёва! — сказал Кузьмичов. — Опять, баловник, слюни распустил! Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силой не тянет!

— Ничего, ничего, брат Егор, ничего… — забормотал скороговоркой о. Христофор. — Ничего, брат… Призывай Бога… Не за худом едешь, а за добром. Ученье, как говорится, свет, а неученье — тьма… Истинно так.

— Хочешь вернуться? — спросил Кузьмичов.

— Хо… хочу… — ответил Егорушка, всхлипывая.

— И вернулся бы. Всё равно попусту едешь, за семь верст киселя хлебать.

— Ничего, ничего, брат… — продолжал о. Христофор. — Бога призывай… Ломоносов так же вот с рыбарями ехал, однако из него вышел человек на всю Европу. Умственность, воспринимаемая с верой, дает плоды, Богу угодные. Как сказано в молитве? Создателю во славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу… Так-то.

— Польза разная бывает… — сказал Кузьмичов, закуривая дешевую сигару. — Иной двадцать лет

обучается, а никакого толку.

— Это бывает.

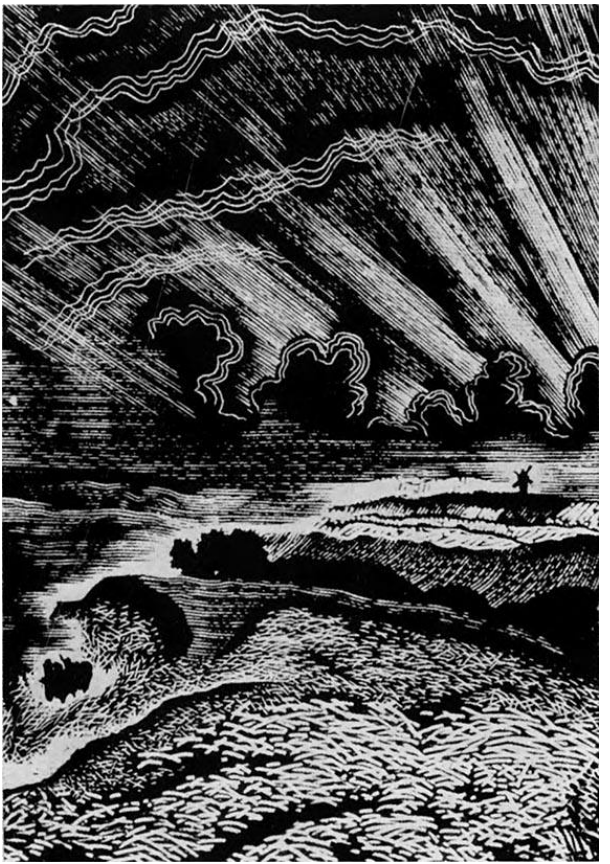
— Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Сестра — женщина непонимающая, норовит всё по благородному и хочет, чтоб из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку на век осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают.

— А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учения постигать.

И думая, что оба они сказали нечто убедительное и веское, Кузьмичов и о. Христофор сделали серьезные лица и одновременно кашлянули. Дениска, прислушивавшийся к их разговору и ничего не понявший, встряхнул головой и, приподнявшись, стегнул по обеим гнедым. Наступило молчание.

Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали; едешь-едешь и никак не разберешь, где она начи-

нается и где кончается… Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без хлопот принялось за свою работу. Сначала, далеко впереди, где небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса; через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы; что-то теплое коснулось Егорушкиной спины, полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутень, улыбнулась и засверкала росой.



«Сначала… около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса…» (гл. I).

Гравюра В. М. Конашевича. ИРЛИ. С.-Петербург

Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля — всё, побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росою и обласканное солнцем, оживало, чтоб вновь зацвести. Над дорогой с веселым криком носились старички,[2] в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким «тррр» полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую, монотонную музыку.

Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь приняла свой

---

[2] Примечания: 2

…носились старички… — Старик, старичок — морская птица (Даль В. Толковый словарь. М., 1935. Т. 4. С. 325).

унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла. Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски…

Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит всё одно и то же — небо, равнину, холмы… Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи; все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной.

Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою несется над степью, и непонятно, зачем он летает и что ему нужно. А вдали машет крыльями мельница…

Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла с синей

ракшей[3] на верхней ветке, перебежит дорогу суслик, и — опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи…

Но вот, слава Богу, навстречу едет воз со снопами. На самом верху лежит девка. Сонная, изморенная зноем, поднимает она голову и глядит на встречных. Дениска зазевался на нее, гнедые протягивают морды к снопам, бричка, взвизгнув, целуется с возом, и колючие колосья, как веником, проезжают по цилиндру о. Христофора.

— На людей едешь, пухлая! — кричит Дениска. — Ишь, рожу-то раскорячило, словно шмель укусил!

Девка сонно улыбается и, пошевелив губами, опять ложится… А вот на холме показывается одинокий тополь; кто его посадил и зачем он здесь — Бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное — всю жизнь один, один… За тополем ярко-желтым ковром, от верхушки холма до самой дороги,

---

[3] Примечания: 3

…с синей ракшей… — Ракша — птица, сизая или сивая воронка. (Там же. С. 55).

тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят… Шесть косарей стоят рядом и взмахивают косами, а косы весело сверкают и в такт, все вместе издают звук: «Вжжи, вжжи!» По движениям баб, вяжущих снопы, по лицам косарей, по блеску кос видно, что зной жжет и душит. Черная собака с высунутым языком бежит от косарей навстречу к бричке, вероятно с намерением залаять, но останавливается на полдороге и равнодушно глядит на Дениску, грозящего ей кнутом: жарко лаять! Одна баба поднимается и, взявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами кумачовую рубаху Егорушки. Красный ли цвет ей понравился, или вспомнила она про своих детей, только долго стоит она неподвижно и смотрит вслед…

Но вот промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы, знойное небо, опять носится над землею коршун. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница и всё еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Надоело глядеть на нее и кажется, что до нее никогда не доедешь, что она бежит от брички.

О. Христофор и Кузьмичов молчали. Дениска

стегал по гнедым и покрикивал, а Егорушка уже не плакал, а равнодушно глядел по сторонам. Зной и степная скука утомили его. Ему казалось, что он давно уже едет и подпрыгивает, что солнце давно уже печет ему в спину. Не проехали еще и десяти верст, а он уже думал: «Пора бы отдохнуть!» С лица дяди мало-помалу сошло благодушие и осталась одна только деловая сухость, а бритому, тощему лицу, в особенности когда оно в очках, когда нос и виски покрыты пылью, эта сухость придает неумолимое, инквизиторское выражение. Отец же Христофор не переставал удивленно глядеть на мир Божий и улыбаться. Молча, он думал о чем-то хорошем и веселом, и добрая, благодушная улыбка застыла на его лице. Казалось, что и хорошая, веселая мысль застыла в его мозгу от жары…

— А что, Дениска, догоним нынче обозы? — спросил Кузьмичов.

Дениска поглядел на небо, приподнялся, стегнул по лошадям и потом уже ответил:

— К ночи, Бог даст, догоним…

Послышался собачий лай. Штук шесть громадных степных овчарок вдруг, выскочив точно из засады, с свирепым воющим лаем бросились навстречу бричке. Все они, необыкновенно злые,

с мохнатыми паучьими мордами и с красными от злобы глазами, окружили бричку и, ревниво толкая друг друга, подняли хриплый рев. Они ненавидели страстно и, кажется, готовы были изорвать в клочья и лошадей, и бричку, и людей… Дениска, любивший дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придав своему лицу злорадное выражение, перегнулся и хлестнул кнутом по овчарке. Псы пуще захрипели, лошади понесли; и Егорушка, еле державшийся на передке, глядя на глаза и зубы собак, понимал, что, свались он, его моментально разнесут в клочья, но страха не чувствовал, а глядел так же злорадно, как Дениска, и жалел, что у него в руках нет кнута.

Бричка поравнялась с отарой овец.

— Стой! — закричал Кузьмичов. — Держи! Тпрр…

Дениска подался всем туловищем назад и осадил гнедых. Бричка остановилась.

— Поди сюда! — крикнул Кузьмичов чебану. — Уйми собак, будь они прокляты!

Старик-чебан, оборванный и босой, в теплой шапке, с грязным мешком у бедра и с крючком на длинной палке — совсем ветхозаветная фигура — унял собак и, снявши шапку, подошел к бричке. Точно такая же ветхозаветная фигура стояла, не

шевелясь, на другом краю отары и равнодушно глядела на проезжих.

— Чья это отара? — спросил Кузьмичов.

— Варламовская! — громко ответил старик.

— Варламовская! — повторил чебан, стоявший на другом краю отары.

— Что, проезжал тут вчерась Варламов или нет?

— Никак нет… Приказчик ихний проезжали, это точно…

— Трогай!

Бричка покатила дальше, и чебаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась всё больше и больше, совсем выросла, и уж можно было отчетливо разглядеть ее два крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое только недавно сделано из нового дерева и лоснилось на солнце.

Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали, ехали, а она всё уходила влево и не исчезала из глаз.

— Славный ветряк поставил сыну Болтва! — заметил Дениска.

— А что-то хутора его не видать.

— Он туда, за балочкой.

Скоро показался и хутор Болтвы, а ветряк всё еще не уходил назад, не отставал, глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. Какой колдун!



«Скоро показался и хутор Болтвы…» (гл. I).

Гравюра В. М. Конашевича. ИРЛИ. С.-Петербург

II

Около полудня бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчанье и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, склеенного природой из громадных, уродливых камней, сквозь трубочку из болиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю и, прозрачная, веселая, сверкающая на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево. Недалеко от холма маленькая речка расползалась в лужицу; горячие лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нее силу; но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такою же речонкой, потому что шагах в ста от холма по ее течению зеленела густая, пышная осока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетело три бекаса.

Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей. Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сели в жидкой тени, бросаемой

бричкою и распряженными лошадьми, на разостланном войлоке и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая от жары в мозгу о. Христофора, после того, как он напился воды и съел одно печеное яйцо, запросилась наружу. Он ласково взглянул на Егорушку, пожевал и начал:

— Я сам, брат, учился. С самого раннего возраста Бог вложил в меня смысл и понятие, так что я не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своим разумением. Пятнадцати лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по-латынски всё равно как по-русски. Помню, был я жезлоносцем у преосвященного Христофора. Раз после обедни, как теперь помню, в день тезоименитства благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного,[4] он разоблачался в алтаре, поглядел на меня ласково и спрашивает: «Puer bone, quam appel-laris?»[5] А я отвечаю: «Christophorus sum».[6] А он: «Ergo connominati sumus», то есть,

---

[4] Примечания: 4

...в день тезоименитства... Александра Павловича Благословенного... — День именин царя Александра I (1777–1825)

[5] Примечания: 5

Добрый мальчик, как тебя зовут? (лат.).

[6] Примечания: 6

Христофор (лат.).

мы, значит, тезки… Потом спрашивает по-латынски: «Чей ты?» Я и отвечаю тоже по-латынски, что я сын диакона Сирийского в селе Лебединском. Видя такую мою скороспешность и ясность ответов, преосвященный благословил меня и сказал: «Напиши отцу, что я его не оставлю, а тебя буду иметь в виду». Протоиереи и священники, которые в алтаре были, слушая латинский диспут, тоже немало удивлялись, и каждый в похвалу мне изъявил свое удовольствие. Еще у меня усов не было, а я уж, брат, читал и по-латынски, и по-гречески, и по-французски, знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Память мне Бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж, светильник церкви. Я и сам думал в Киев ехать, науки продолжать, да родители не благословили. «Ты, говорил отец, весь век учиться будешь, когда же мы тебя дождемся?» Слыша такие слова, я бросил науки и поступил на место. Оно, конечно, ученый из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался, старость их успокоил, похоронил с честью. Послушание паче поста и молитвы!

— Должно быть, вы уж все науки забыли! — за-

метил Кузьмичов.

— Как не забыть? Славу Богу, уж восьмой десяток пошел! Из философии и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсем забыл.

О. Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал вполголоса:

— Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполнению.[7]

Он покрутил головой и засмеялся от умиления.

— Духовная пища! — сказал он. — Истинно, материя питает плоть, а духовная пища душу!

— Науки науками, — вздохнул Кузьмичов, — а вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука.

— Человек — не иголка, найдем. Он теперь в этих местах кружится.

Над осокой пролетели знакомые три бекаса, и

---

[7] Примечания: 7

Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполнению. — Это философское определение субстанции взято из сочинения Петра Могилы (1596–1648), киевского митрополита, много заботившегося о просвещении, в частности о Киево-братской (могилянской) школе, «Собрание краткия науки об артикулах веры» (М., 1649. Л. 5 об.) и восходит к «Изборнику Святослава» 1073 г. («Изборник великого князя Святослава Ярославича» 1073 г. М., 1983. Л. 223), отрывки из которого приведены в труде: *Буслаев Ф. И.* Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. М., 1861. Стб. 274. См.: *Николаева С. Ю.* Источник чеховской цитаты // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1985. Т. 44, № 5. С. 449–450.

в их писке слышались тревога и досада, что их согнали с ручья. Лошади степенно жевали и пофыркивали; Дениска ходил около них и, стараясь показать, что он совершенно равнодушен к огурцам, пирогам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избиение слепней и мух, облеплявших лошадиные животы и спины. Он аппетитно, издавая горлом какой-то особенный, ехидно-победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо крякал и провожал глазами всякого счастливца, избежавшего смерти.

— Дениска, где ты там! Поди ешь! — сказал Кузьмичов, глубоко вздыхая и тем давая знать, что он уже наелся.

Дениска несмело подошел к войлоку и выбрал себе пять крупных и желтых огурцов, так называемых «желтяков» (выбрать помельче и посвежее он посовестился), взял два печеных яйца, черных и с трещинами, потом нерешительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой руке, коснулся пальцем пирожка.

— Бери, бери! — поторопил его Кузьмичов.

Дениска решительно взял пирог и, отойдя далеко в сторону, сел на земле, спиной к бричке. Тотчас же послышалось такое громкое жеванье, что даже лошади обернулись и подозрительно

поглядели на Дениску.

Закусивши, Кузьмичов достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке:

— Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили.

О. Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, взглянув на него, замер от удивления. Он никак не предполагал, что священники носят брюки, а на о. Христофоре были настоящие парусинковые брюки, засунутые в высокие сапоги, и кургузая пестрядинная курточка.[8] Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он, со своими длинными волосами и бородой, очень похож на Робинзона Крузе. Разоблачившись, о. Христофор и Кузьмичов легли в тень под бричкой, лицом друг к другу, и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на припеке животом вверх и тоже закрыл глаза.

— Поглядывай, чтоб кто коней не увел! — сказал он Егорушке и тотчас же заснул.

Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали спящие; где-то не близко плакал один чибис и изредка раздавался писк трех бекасов, прилетав-

---

[8] Примечания: 8

…пестрядинная курточка. — Пестрядёвая или пестрядинная — сделанная из пестряди, пеньковой ткани грубой выделки.

ших поглядеть, не уехали ли непрошеные гости; мягко картавя, журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремоту.

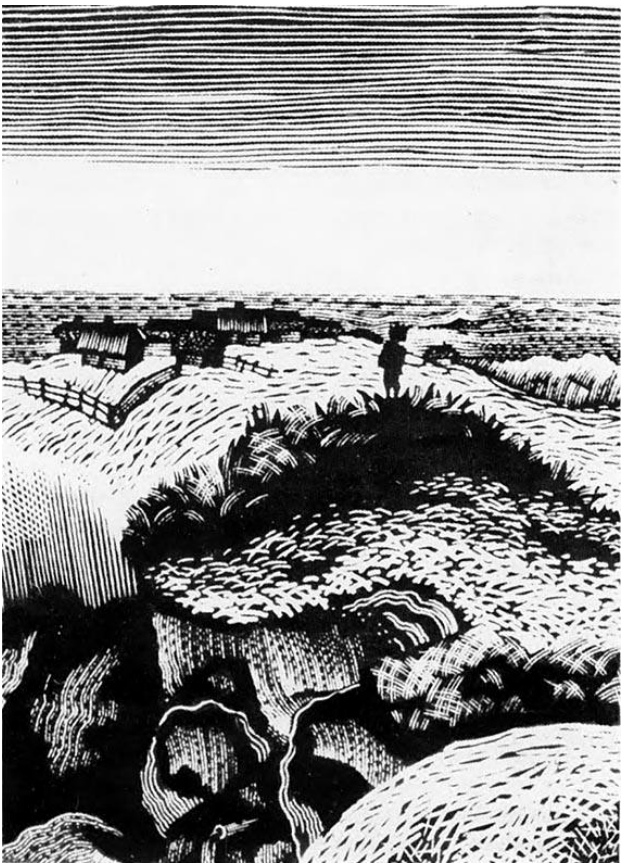
Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль; только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко назади. Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглаже и пошире; на нем лепился небольшой поселок из пяти-шести дворов. Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней, точно поселок задохнулся в горячем воздухе и высох. От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой желтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брички. Дядя и о. Христофор крепко спали; сон их должен был продолжаться часа два-три, пока не отдохнут лошади… Как же убить это длинное время и куда деваться от зноя! Задача мудреная… Машинально Егорушка подставил рот под струйку, бежавшую

из трубочки; во рту его стало холодно и запахло болиголовом; пил он сначала с охотой, потом через силу и до тех пор, пока острый холод изо рта не побежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. Затем он подошел к бричке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела, Кузьмичов всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели «Иже херувимы»,[9] думал о своих делах, ни на минуту не мог забыть о них, и теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, Варламов… Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу. Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своем веку, его прельщало не столько само дело, сколько суета и общение с людьми, присущие всякому предприятию. Так, в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть, Варламов и цены, сколько длинный путь, дорожные разговоры, спанье под бричкой, еда не вовремя… И теперь, судя по его лицу, ему снились, должно

[9] Примечания: 9

…пели «Иже херувимы»… — Начальные слова «Херувимской» — духовной песни православной церкви. Музыку на слова «Херувимской» писали Д. С. Бортнянский, М. И. Глинка, П. И. Чайковский.

быть, преосвященный Христофор, латинский диспут, его попадья, пышки со сметаной и всё такое, что не могло сниться Кузьмичову.



«Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглаже и пошире; на нем лепился небольшой поселок из пяти — шести дворов… на одном из больших неуклюжих камней стоял маленький мальчик в одной рубахе…» (гл. II).

Гравюра В. М. Конашевича. ИРЛИ. С.-Петербург

В то время, как Егорушка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то не близко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня; потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну;

она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя…

Егорушка послушал немного, и ему стало казаться, что от заунывной, тягучей песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее… Чтобы заглушить песню, он, напевая и стараясь стучать ногами, побежал к осоке. Отсюда он поглядел во все стороны и нашел того, кто пел. Около крайней избы поселка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, и что-то просеивала; из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. Теперь было очевидно, что пела она. На сажень от нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке и без шапки. Точно очарованный песнею, он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно, на кумачовую рубаху Егорушки.

Песня стихла. Егорушка поплелся к бричке и опять, от нечего делать, занялся струйкой воды.

И опять послышалась тягучая песня. Пела всё та же голенастая баба за бугром в поселке. К Егорушке вдруг вернулась его скука. Он оставил трубочку и поднял глаза вверх. То, что увидел

он, было так неожиданно, что он немножко испугался. Над его головой на одном из больших неуклюжих камней стоял маленький мальчик в одной рубахе, пухлый, с большим, оттопыренным животом и на тоненьких ножках, тот самый, который раньше стоял около бабы. С тупым удивлением и не без страха, точно видя перед собой выходцев с того света, он, не мигая и разинув рот, оглядывал кумачовую рубаху Егорушки и бричку. Красный цвет рубахи манил и ласкал его, а бричка и спавшие под ней люди возбуждали его любопытство; быть может, он и сам не заметил, как приятный красный цвет и любопытство притянули его из поселка вниз, и, вероятно, теперь удивлялся своей смелости. Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку. Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость. После долгого молчания Егорушка спросил:

— Тебя как звать?

Щеки незнакомца еще больше распухли; он прижался спиной к камню, выпучил глаза, пошевелил губами и ответил сиплым басом:

— Тит.

Больше мальчики не сказали друг другу ни слова. Помолчав еще немного и не отрывая глаз от Егорушки, таинственный Тит задрал вверх одну

ногу, нащупал пяткой точку опоры и взобрался на камень; отсюда он, пятясь назад и глядя в упор на Егорушку, точно боясь, чтобы тот не ударил его сзади, поднялся на следующий камень и так поднимался до тех пор, пока совсем не исчез за верхушкой бугра.

Проводив его глазами, Егорушка обнял колени руками и склонил голову… Горячие лучи жгли ему затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала, то опять проносилась в стоячем, душном воздухе, ручей монотонно журчал, лошади жевали, а время тянулось бесконечно, точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что с утра прошло уже сто лет… Не хотел ли Бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в этом воздухе и, как холмы, окаменели бы и остались навеки на одном месте?

Егорушка поднял голову и посоловевшими глазами поглядел вперед себя; лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижною, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше… Она потянула за собою бурую траву, осоку, и Егорушка понесся с необычайною быстротою за убегавшею далью. Какая-то сила бесшумно влекла его куда-то, а за ним вдогонку неслись зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и

закрыл глаза…

Первый проснулся Дениска. Его что-то укусило, потому что он вскочил, быстро почесал плечо и проговорил:

— Анафема идолова, нет на тебя погибели!

Затем он подошел к ручью, напился и долго умывался. Его фырканье и плеск воды вывели Егорушку из забытья. Мальчик поглядел на его мокрое лицо, покрытое каплями и крупными веснушками, которые делали лицо похожим на мрамор, и спросил:

— Скоро поедем?

Дениска поглядел, как высоко стоит солнце, и ответил:

— Должно, скоро.

Он вытерся подолом рубахи и, сделав очень серьезное лицо, запрыгал на одной ноге.

— А ну-ка, кто скорей доскачет до осоки! — сказал он.

Егорушка был изнеможен зноем и полусном, но все-таки поскакал за ним. Дениске было уже около 20-ти лет, служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал еще быть маленьким. Он очень любил пускать змеи, гонять голубей, играть в бабки, бегать вдогонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры. Нужно было только

хозяевам уйти или уснуть, чтобы он занялся чем-нибудь вроде прыганья на одной ножке или подбрасыванья камешков. Всякому взрослому, при виде того искреннего увлечения, с каким он резвился в обществе малолетков, трудно было удержаться, чтобы не проговорить: «Этакая дубина!» Дети же во вторжении большого кучера в их область не видели ничего странного: пусть играет, лишь бы не дрался! Точно так маленькие собаки не видят ничего странного, когда в их компанию затесывается какой-нибудь большой, искренний пес и начинает играть с ними.

Дениска перегнал Егорушку и, по-видимому, остался этим очень доволен. Он подмигнул глазом и, чтобы показать, что он может проскакать на одной ножке какое угодно пространство, предложил Егорушке, не хочет ли тот проскакать с ним по дороге и оттуда, не отдыхая, назад к бричке? Егорушка отклонил это предложение, потому что очень запыхался и ослабел.

Вдруг Дениска сделал очень серьезное лицо, какого он не делал, даже когда Кузьмичов распекал его или замахивался на него палкой; прислушиваясь, он тихо опустился на одно колено, и на лице его показалось выражение строгости и страха, какое бывает у людей, слышащих ересь.

Он нацелился на одну точку глазами, медленно поднял вверх кисть руки, сложенную лодочкой, и вдруг упал животом на землю и хлопнул лодочкой по траве.

— Есть! — прохрипел он торжествующе и, вставши, поднес к глазам Егорушки большого кузнечика.

Думая, что это приятно кузнечику, Егорушка и Дениска погладили его пальцами по широкой зеленой спине и потрогали его усики. Потом Дениска поймал жирную муху, насосавшуюся крови, и предложил ее кузнечику. Тот очень равнодушно, точно давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими, похожими на забрало челюстями и отъел мухе живот. Его выпустили, он сверкнул розовой подкладкой своих крыльев и, опустившись в траву, тотчас же затрещал свою песню. Выпустили и муху; она расправила крылья и без живота полетела к лошадям.

Из-под брички послышался глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичов. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и Варламове.

— Отец Христофор, вставайте, пора! — заговорил он встревоженно. — Будет спать, и так уж дело проспали! Дениска, запрягай!

О. Христофор проснулся с такою же улыбкою, с какою уснул. Лицо его от сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он не спеша вытащил из кармана маленький засаленный псалтирь и, став лицом к востоку, начал шепотом читать и креститься.

— Отец Христофор! — сказал укоризненно Кузьмичов. — Пора ехать, уж лошади готовы, а вы ей-Богу…

— Сейчас, сейчас… — забормотал о. Христофор. — Кафизмы почитать надо…[10] Не читал еще нынче.

— Можно и после с кафизмами.

— Иван Иваныч, на каждый день у меня положение… Нельзя.

— Бог не взыскал бы.

Целую четверть часа о. Христофор стоял неподвижно лицом к востоку и шевелил губами, а Кузьмичов почти с ненавистью глядел на него

---

[10] Примечания: 10

…Кафизмы почитать надо… — Кафизмы — отделы, на которые разделена псалтырь для чтения по обряду православного богослужения. В отличие от акафиста, произносимого стоя, кафизма могла читаться сидя.

и нетерпеливо пожимал плечами. Особенно его сердило, когда о. Христофор после каждой «славы» втягивал в себя воздух, быстро крестился и намеренно громко, чтоб другие крестились, говорил трижды:

— Аллилуя, аллилуя, аллилуя, слава Тебе, Боже!

Наконец он улыбнулся, поглядел вверх на небо и, кладя псалтирь в карман, сказал:

— Fini![11]

Через минуту бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше, путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули в лиловой дали, и не было видно их конца; мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и все те же грачи да коршун, солидно взмахивающий крыльями, летали над степью. Воздух всё больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании… Ни ветра, ни бодрого, свежего звука, ни облачка.

Но вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов

---

[11] Примечания: 11
Кончил! (лат.).

неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью — я, мол, готово — и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекати-поле столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке.

У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькает над водой, крылья сливаются с усиками и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков… Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, потом, вероятно испуганный

облаком пыли, понесся в сторону и долго еще было видно его мелькание…

А вот, встревоженный вихрем и не понимая, в чем дело, из травы вылетел коростель. Он летел за ветром, а не против, как все птицы; от этого его перья взъерошились, весь он раздулся до величины курицы и имел очень сердитый, внушительный вид. Одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, покойно носились над травой или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толстыми клювами черствую землю.

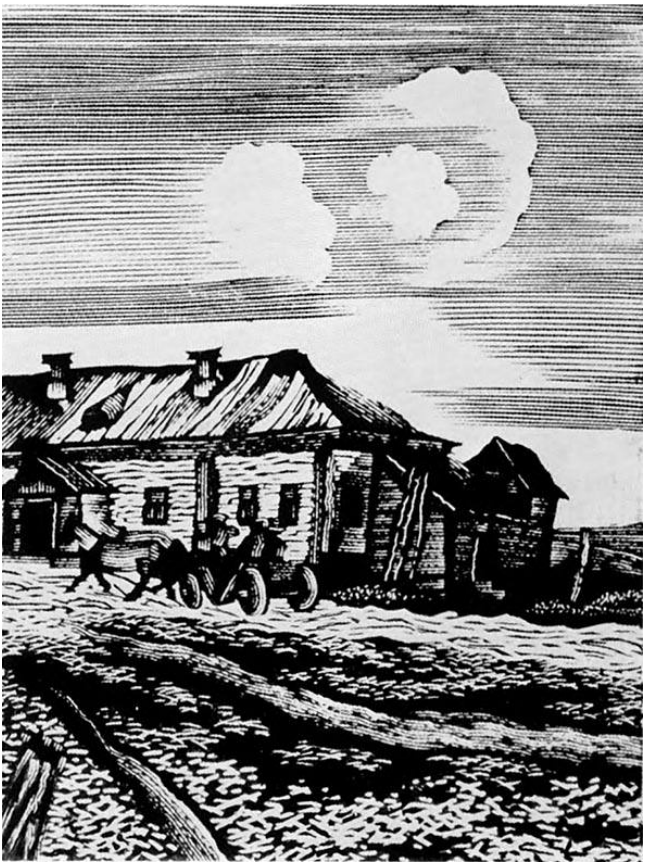
За холмами глухо прогремел гром; подуло свежестью. Дениска весело свистнул и стегнул по лошадям. О. Христофор и Кузьмичов, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы… Хорошо, если бы брызнул дождь!

Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и степь взяла бы верх. Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, и опять, как будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно застыл и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу…

Затем скоро наступил вечер.

III

В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался постоялым двором, хотя возле него никакого двора не было и стоял он посреди степи, ничем не огороженный. Несколько в стороне от него темнел жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами, склонив свои тяжелые головы, стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи.



«В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался постоялым двором...» (гл. III).

Гравюра В. М. Конашевича. ИРЛИ. С.-Петербург

Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса — один мужской, другой женский, — завизжала дверь на блоке, и около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это был хозяин постоялого двора Мойсей Мойсеич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как Мойсей Мойсеич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука, на хозяине были еще широкие белые панталоны навыпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских

клопов.

Мойсей Мойсеич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал. Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу, и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко.

— Ах, Боже мой, Боже мой! — заговорил он тонким певучим голосом, задыхаясь, суетясь и своими телодвижениями мешая пассажирам вылезти из брички. — И такой сегодня для меня счастливый день! Ах, да что же я таперичка должен делать! Иван Иваныч! Отец Христофор! Какой же хорошенький паничок сидит на козлах, накажи меня Бог! Ах, Боже ж мой, да что же я стою на одном месте и не зову гостей в горницу? Пожалуйте, покорнейше прошу… милости просим! Давайте мне все ваши вещи… Ах, Боже мой!

Мойсей Мойсеич, шаря в бричке и помогая приезжим вылезать, вдруг обернулся назад и закричал таким диким, придушенным голосом, как будто тонул и звал на помощь:

— Соломон! Соломон!

— Соломон! Соломон! — повторил в доме женский голос.

Дверь на блоке завизжала, и на пороге показался невысокий молодой еврей, рыжий, с большим птичьим носом и с плешью среди жестких кудрявых волос; одет он был в короткий, очень поношенный пиджак, с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки, отчего сам казался коротким и кургузым, как ощипанная птица. Это был Соломон, брат Мойсея Мойсеича. Он молча, не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь, подошел к бричке.

— Иван Иваныч и отец Христофор приехали! — сказал ему Мойсей Мойсеич таким тоном, как будто боялся, что тот ему не поверит. — Ай, вай, удивительное дело, такие хорошие люди взяли да приехали! Ну, бери, Соломон, вещи! Пожалуйте, дорогие гости!

Немного погодя Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сидели уже в большой, мрачной и пустой комнате за старым дубовым столом. Этот стол был почти одинок, так как в большой комнате, кроме него, широкого дивана с дырявой клеенкой да трех стульев, не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякий решился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобие мебели с отжившей свой век клеенкой

и с неестественно сильно загнутыми назад спинками, придававшими стульям большое сходство с детскими санями. Трудно было понять, какое удобство имел в виду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки, и хотелось думать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь проезжий силач, который, желая похвастать своей силой, согнул стульям спины, потом взялся поправлять и еще больше согнул. Комната казалась мрачной. Стены были серы, потолок и карнизы закопчены, на полу тянулись щели и зияли дыры непонятного происхождения (думалось, что их пробил каблуком все тот же силач), и казалось, если бы в комнате повесили десяток ламп, то она не перестала бы быть темной. Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшения. Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то гравюра с надписью: «Равнодушие человеков». К чему человеки были равнодушны — понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами. Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым.



«Немного погодя Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сидели уже в большой, мрачной и пустой комнате за старым дубовым столом… Введя гостей в комнату, Мойсей Мойсеич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать…» (гл. III). Рисунок В. М. Конашевича. ИРЛИ. С.-Петербург

Введя гостей в комнату, Мойсей Мойсеич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать — все это считал он нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенно вежливым и любезным.

— Когда проехали тут наши подводы? — спросил его Кузьмичов.

— Одна партия проехала нынче утречком, а другая, Иван Иваныч, отдыхала тут в обед и перед вечером уехала.

— А… Проезжал тут Варламов или нет?

— Нет, Иван Иваныч. Вчера утречком проезжал его приказчик Григорий Егорыч и говорил, что он, надо быть, таперичка на хуторе у молокана.

— Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к молокану.

— Да Бог с вами, Иван Иваныч! — ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. — Куда вы на ночь поедете? Вы поужинайте на здоровьечко и переночуйте, а завтра, Бог даст, утречком поедете и догоните кого надо!

— Некогда, некогда… Извините, Мойсей Мойсеич, в другой раз как-нибудь, а теперь не время. Посидим четверть часика и поедем, а переночевать и у молокана можно.

— Четверть часика! — взвизгнул Мойсей Мойсеич. — Да побойтесь вы Бога, Иван Иваныч! Вы меня заставите, чтоб я ваши шапке спрятал и запер на замок дверь! Вы хоть закусите и чаю покушайте!

— Некогда нам с чаями да с сахарами, — сказал Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич склонил голову набок, согнул колени и выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов, и с мучительно-сладкой улыбкой стал умолять:

— Иван Иваныч! Отец Христофор! Будьте же такие добрые, покушайте у меня чайку! Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить? Иван Иваныч!

— Что ж, чайку можно попить, — сочувственно вздохнул отец Христофор. — Это не задержит.

— Ну, ладно! — согласился Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич встрепенулся, радостно ахнул и, пожимаясь так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери и закричал диким придушенным голосом, каким раньше звал Соломона:

— Роза! Роза! Давай самовар!

Через минуту отворилась дверь и в комнату с большим подносом в руках вошел Соломон. Ставя на стол поднос, он насмешливо глядел куда-то в сторону и по-прежнему странно улыбался. Теперь при свете лампочки можно было разглядеть его улыбку; она была очень сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было одно — явное презрение. Он как будто думал о чем-то смешном и глупом, кого-то терпеть не мог и презирал, чему-то радовался и ждал подходящей минуты, чтобы уязвить насмешкой и покатиться со смеху. Его длинный нос, жирные губы и хитрые выпученные глаза, казалось, были напряжены от желания расхохотаться. Взглянув на его лицо, Кузьмичов насмешливо улыбнулся и спросил:

— Соломон, отчего же ты этим летом не приез-

жал к нам в N. на ярмарку жидов представлять?

Года два назад, что отлично помнил и Егорушка, Соломон в N. на ярмарке, в одном из балаганов, рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об этом не произвело на Соломона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и немного погодя вернулся с самоваром.

Сделав около стола свое дело, он пошел в сторону и, скрестив на груди руки, выставив вперед одну ногу, уставился своими насмешливыми глазами на о. Христофора. В его позе было что-то вызывающее, надменное и презрительное и в то же время в высшей степени жалкое и комическое, потому что чем внушительнее становилась его поза, тем ярче выступали на первый план его короткие брючки, куцый пиджак, карикатурный нос и вся его птичья, ощипанная фигурка.

Мойсей Мойсеич принес из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола.

— Приятного аппетиту! Чай да сахар! — начал он занимать гостей. — Кушайте на здоровьечко. Такие редкие гости, такие редкие, а отца Христофора я уж пять годов не видал. И никто не хочет мне сказать, чей это такой паничок хороший? — спросил он, нежно поглядывая на Егорушку.

— Это сынок сестры Ольги Ивановны, — ответил Кузьмичов.

— А куда же он едет?

— Учиться. В гимназию его везем.

Мойсей Мойсеич из вежливости изобразил на лице своем удивление и значительно покрутил головой.

— О, это хорошо! — сказал он, грозя самовару пальцем. — Это хорошо! Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы будем шапке снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. О, это хорошо!

Он помолчал немного, погладил себе колени и заговорил в почтительно-шутливом тоне:

— Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать.

— Да, вздумал вот на старости лет… — сказал о. Христофор и засмеялся. — Записался, брат, из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть да Богу молиться, а я скачу, аки фараон на колеснице… Суета!

— Зато грошей будет много!

— Ну да! Дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а затя Михайлы!

— Отчего же он сам не поехал?

— А оттого… Матернее молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть, а чтоб продать — ума нет, молод еще. Все деньги потратил, хотел нажиться и пыль пустить, а сунулся туда-сюда, ему и своей цены никто не дает. Этак помыкался парень с год, потом приходит ко мне и — «Папаша, продайте шерсть, сделайте милость! Ничего я в этих делах не понимаю!» То-то вот и есть. Как что, так сейчас и папаша, а прежде и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивался, а теперь, как приспичило, так и папаша. А что папаша? Коли б не Иван Иваныч, так и папаша ничего б не сделал. Хлопоты с ними!

— Да, хлопотно с детьми, я вам скажу! — вздохнул Мойсей Мойсеич. — У меня у самого шесть человек. Одного учи, другого лечи, третьего на руках носи, а когда вырастут, так еще больше хлопот. Не только таперичка, даже в Священном писании так было. Когда у Иакова были маленькие дети, он плакал, а когда они выросли, еще хуже стал плакать!

— М-да… — согласился о. Христофор, задумчиво глядя на стакан. — Мне-то, собственно, нечего

Бога гневить, я достиг предела своей жизни, как дай Бог всякому… Дочек за хороших людей определил, сынов в люди вывел и теперь свободен, свое дело сделал, хоть на все четыре стороны иди. Живу со своей попадьей потихоньку, кушаю, пью да сплю, на внучат радуюсь да Богу молюсь, а больше мне ничего и не надо. Как сыр в масле катаюсь и знать никого не хочу. Отродясь у меня никакого горя не было и теперь ежели б, скажем, царь спросил: «Что тебе надобно? Чего хочешь?» Да ничего мне не надобно! Все у меня есть и все слава Богу. Счастливей меня во всем городе человека нет. Только вот грехов много, да ведь и то сказать, один Бог без греха. Ведь верно?

— Стало быть, верно.

— Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да се… одышка и всякое там… Болею, плоть немощна, ну да ведь, сам посуди, пожил! Восьмой десяток! Не век же вековать, надо и честь знать.

О. Христофор вдруг что-то вспомнил, прыснул в стакан и закашлялся от смеха. Мойсей Мойсеич из приличия тоже засмеялся и закашлялся.

— Потеха! — сказал о. Христофор и махнул рукой. — Приезжает ко мне в гости старший сын мой Гаврила. Он по медицинской части и служит

в Черниговской губернии в земских докторах… Хорошо-с… Я ему и говорю: «Вот, говорю, одышка, то да се… Ты доктор, лечи отца!» Он сейчас меня раздел, постукал, послушал, разные там штуки… живот помял, потом и говорит: «Вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом».

О. Христофор захохотал судорожно, до слез и поднялся.

— А я ему и говорю: «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» — выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками. — Бог с ним, с этим сжатым воздухом!

Мойсей Мойсеич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай болонки.

— Бог с ним, с этим сжатым воздухом! — повторил о. Христофор, хохоча.

Мойсей Мойсеич взял двумя нотами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял на ногах.

— О, Боже мой… — стонал он среди смеха. — Дайте вздохнуть… Так насмешили, что… ох!.. — смерть моя.

Он смеялся и говорил, а сам между тем пугливо и подозрительно посматривал на Соломона. Тот стоял в прежней позе и улыбался. Судя по его гла-

зам и улыбке, он презирал и ненавидел серьезно, но это так не шло к его ощипанной фигурке, что, казалось Егорушке, вызывающую позу и едкое, презрительное выражение придал он себе нарочно, чтобы разыграть шута и насмешить дорогих гостей.

Выпив молча стаканов шесть, Кузьмичов расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек.

— Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем, — сказал Кузьмичов.

Увидев деньги, Мойсей Мойсеич сконфузился, встал и, как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты. Соломон остался на своем месте.

— В рублевых пачках по скольку? — начал о. Христофор.

— По пятьдесят… В трехрублевых по девяносто… Четвертные и сторублевые по тысячам сложены. Вы отсчитайте семь тысяч восемьсот для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Да глядите, не просчитайте…

Егорушка отродясь не видал такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в семь тысяч восемьсот, которую о. Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышления о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников; теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались и мысли путались, как нитки. Если б можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтоб не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым, сонным мыслям еще больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее.

— Ах, деньги, деньги! — вздыхал о. Христофор, улыбаясь. — Горе с вами! Теперь мой Михайло, небось, спит и видит, что я ему такую кучу привезу.

— Ваш Михайло Тимофеич человек непонимающий, — говорил вполголоса Кузьмичов, — не за свое дело берется, а вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад, а я б вам, так и быть уж, дал бы по полтиннику поверх своей цены, да и то только из уважения…

— Нет, Иван Иванович, — вздыхал о. Христофор. — Благодарим вас за внимание… Конечно, ежели б моя воля, я б и разговаривать не стал, а то ведь, сами знаете, товар не мой…

Вошел на цыпочках Мойсей Мойсеич. Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху.

— А пойдем-ка, паничок, — сказал он вполголоса, — какого я тебе медведика покажу! Такой страшный, сердитый! У-у!

Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Мойсеем Мойсеичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку, где, прежде чем он увидел что-нибудь, у него захватило дыхание от запаха чего-то кислого и затхлого, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большою постелью, покрытой сальным стеганым одеялом,

а другая комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комоде горела сальная свечка.

Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с черными крапинками; она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные, стонущие вздохи, точно у нее болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный медом.

— Кушай, детка, кушай! — сказала она. — Ты здесь без маменьке, и тебя некому покормить. Кушай.

Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, наполовину смешанном с воском и с пчелиными крыльями. Он ел, а Мойсей Мойсеич и еврейка глядели и вздыхали.

— Ты куда едешь, детка? — спросила еврейка.

— Учиться, — ответил Егорушка.

— А сколько вас у маменьке?

— Я один. Больше нету никого.

— А-ох! — вздохнула еврейка и подняла вверх глаза. — Бедная маменьке, бедная маменьке! Как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в ученье своего Наума! Ох!

— Ах, Наум, Наум! — вздохнул Мойсей Мойсеич, и на его бледном лице нервно задрожала кожа. — А он такой больной.

Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее; два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Мойсей Мойсеич и еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски. Мойсей Мойсеич говорил вполголоса, низким баском, и в общем его еврейская речь походила на непрерывное «гал-гал-гал-гал…», а жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у нее выходило что-то вроде «ту-ту-ту-ту…». Пока они совещались, из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая… Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая

гидра.[12]

— Гал-гал-гал-гал… — говорил Мойсей Мойсеич.

— Ту-ту-ту-ту… — отвечала ему еврейка.

Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник, в виде сердца.

— Возьми-ка, детка, — сказала она, подавая Егорушке пряник. — У тебя теперь нету маменьке, некому тебе гостинца дать.

Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобней примостился на диване и уж не мешал себе думать.

Кузьмичов только что кончил считать деньги и клал их обратно в мешок. Обращался он с ними не особенно почтительно и валил их в грязный мешок без всякой церемонии с таким равнодушием, как будто это были не деньги, а бумажный хлам.

О. Христофор беседовал с Соломоном.

---

[12] Примечания: 12

…стоглавая гидра. — Гидра (древнегреч. миф) — многоголовая змея, убитая Гераклом. Когда Геракл отрубал одну из голов, на ее месте вырастали две.

— Ну, что, Соломон премудрый? — спрашивал он, зевая и крестя рот. — Как дела?

— Это вы про какие дела говорите? — спросил Соломон и поглядел так ехидно, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление.

— Вообще… Что поделываешь?

— Что я поделываю? — переспросил Соломон и пожал плечами. — То же, что и все… Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающие лакеи у Варламова, а если бы я имел десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем.

— То есть почему же это он был бы у тебя лакеем?

— Почему? А потому, что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида пархатого. Я теперь жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаке, а если б у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Мойсей перед вами.

О. Христофор и Кузьмичов переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичов строго и сухо поглядел на него и спросил:

— Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?

— Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым, — ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. — Варламов хоть и русский, но в душе он жид пархатый; вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней вашего Варламова и больше похож на человека!

Немного погодя Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон голосом глухим и сиплым от душившей его ненависти, картавя и спеша, заговорил об евреях; сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в балагане, с утрированным еврейским акцентом.

— Постой… — перебил его о. Христофор. — Если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени, а смеяться грех; тот последний человек, кто над своей верой глумится.

— Вы ничего не понимаете! — грубо оборвал его Соломон. — Я вам говорю одно, а вы другое…

— Вот и видно сейчас, что ты глупый человек, — вздохнул о. Христофор. — Я тебя наставляю, как умею, а ты сердишься. Я тебе по-стариковски, потихоньку, а ты, как индюк: бла-бла-бла! Чудак,

право…

Вошел Мойсей Мойсеич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и опять на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул головой и поглядел вокруг себя; мельком он увидел лицо Соломона и как раз в тот момент, когда оно было обращено к нему в три четверти и когда тень его длинного носа пересекала всю левую щеку; презрительная улыбка, смешанная с этою тенью, блестящие, насмешливые глаза, надменное выражение и вся его ощипанная фигурка, двоясь и мелькая в глазах Егорушки, делали его теперь похожим не на шута, а на что-то такое, что иногда снится, — вероятно, на нечистого духа.

— Какой-то он у вас бесноватый, Мойсей Мойсеич, Бог с ним! — сказал с улыбкой о. Христофор. — Вы бы его пристроили куда-нибудь, или женили, что ли… На человека не похож…

Кузьмичов сердито нахмурился. Мойсей Мойсеич опять встревоженно и пытливо поглядел на брата и на гостей.

— Соломон, выйди отсюда! — строго сказал он. — Выйди!

И он прибавил еще что-то по-еврейски. Соломон отрывисто засмеялся и вышел.

— А что такое? — испуганно спросил Мойсей Мойсеич о. Христофора.

— Забывается, — ответил Кузьмичов. — Грубитель и много о себе понимает.

— Так и знал! — ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. — Ах, Боже мой! Боже мой! — забормотал он вполголоса. — Уж вы будьте добрые, извините и не серчайте. Это такой человек, такой человек! Ах, Боже мой! Боже мой! Он мне родной брат, но кроме горя я от него ничего не видел. Ведь он, знаете…

Мойсей Мойсеич покрутил пальцем около лба и продолжал:

— Не в своем уме… пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю! Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится… Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Соломон такое ему сказал, что тот ударил кнутом и его и мене… А мене за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это Божья воля, а я разве виноват?

Прошло минут десять, а Мойсей Мойсеич все еще бормотал вполголоса и вздыхал:

— Ночью он не спит и всё думает, думает, думает, а о чем он думает, Бог его знает. Подойдешь к

нему ночью, а он сердится и смеется. Он и меня не любит… И ничего он не хочет! Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по шести тысяч рублей. Я купил себе постоялый двор, женился и таперичка-ка деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко, так жалко! Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне, а зачем же палить?

Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. На Егорушку пахнуло легким ветерком, и показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнула крыльями. Он открыл глаза… Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. О. Христофор, держа широкополый цилиндр, кому-то кланялся и улыбался не мягко и не умиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Мойсей Мойсеич, точно его тело разломалось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только Соломон, как ни в чем не бывало, стоял в углу, скрестив руки, и по-прежнему презрительно улыбался.

— Ваше сиятельство, извините, у нас не чисто! — стонал Мойсей Мойсеич с мучительно-сладкой улыбкой, уже не замечая ни Кузьмичова, ни о. Христофора, а только балансируя всем те-

лом, чтобы не рассыпаться. — Мы люди простые, ваше сиятельство!

Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло, действительно, сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем на холме.

— Проезжал здесь сегодня Варламов? — спросил женский голос.

— Нет, ваше сиятельство! — ответил Мойсей Мойсеич.

— Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минутку.

Вдруг, совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорушка увидел черные, бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло.

— Какой хорошенький мальчик! — сказала дама. — Чей это? Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть! Боже мой, он спит! Бутуз ты мой милый…

И дама крепко поцеловала Егорушку в обе ще-

ки, и он улыбнулся и, думая, что спит, закрыл глаза. Дверной блок завизжал, и послышались торопливые шаги: кто-то входил и выходил.

— Егорушка! Егорушка! — раздался густой шепот двух голосов. — Вставай, ехать!

Кто-то, кажется, Дениска, поставил Егорушку на ноги и повел его за руку; на пути он открыл наполовину глаза и еще раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Подходя к двери, он увидел какого-то красивого и плотного брюнета в шляпе котелком и в крагах. Должно быть, это был провожатый дамы.

— Тпрр! — донеслось со двора.

У порога дома Егорушка увидел новую, роскошную коляску и пару черных лошадей. На козлах сидел лакей в ливрее и с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих вышел один только Соломон. Лицо его было напряжено от желания расхохотаться; он глядел так, как будто с большим нетерпением ждал отъезда гостей, чтобы вволю посмеяться над ними.

— Графиня Драницкая, — прошептал о. Христофор, полезая в бричку.

— Да, графиня Драницкая, — повторил Кузьмичов тоже шепотом.

Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шепотом и только тогда решился стегнуть по гнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты и когда далеко назади вместо постоялого двора виден уж был один только тусклый огонек.

IV

Кто же, наконец, этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине? Севши на передок рядом с Дениской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег; об его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда «кружился в этих местах» и что его всегда ищут.

Много слышал у себя дома Егорушка и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, много овец, конский завод и много денег, но не «кружилась», а жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иваныч, не раз бывавший у графини по делам, рассказывали много чудесного; так, говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утеса,

на утесе стоял дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами, а на коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раза два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии и приезжал даже Варламов; все гости пили чай из серебряных самоваров, ели всё необыкновенное (например, зимою, на Рождество, подавались малина и клубника) и плясали под музыку, которая играла день и ночь…

«А какая она красивая!» — думал Егорушка, вспоминая ее лицо и улыбку.

Кузьмичов, вероятно, тоже думал о графине, потому что, когда бричка проехала версты две, он сказал:

— Да и здорово же обирает ее этот Казимир Михайлыч! В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке тысячи три нажил.

— От ляха иного и ждать нельзя, — сказал о. Христофор.

— А ей и горюшка мало. Сказано, молодая да глупая. В голове ветер так и ходит!

Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней.

Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами — стоит только хорошенько встряхнуть головой — исчезают бесследно; да и всё, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное, налево всё небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уж ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Мойсей Мойсеича под одеялом.

В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, всё прощено, и степь легко вздыхает широкою грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая, молодая трескотня, какой не бывает

днем; треск, подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и дисканты — всё мешается в непрерывный, монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня; едешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вот откуда-то доносится отрывистый, тревожный крик неуснувшей птицы, или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного «а-а!», и дремота опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит: «Сплю! сплю! сплю!», а другая хохочет или заливается истерическим плачем — это сова. Для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине, Бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы… Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко-приторен и нежен.

Сквозь мглу видно всё, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Всё представляется не тем, что оно есть. Едешь и вдруг видишь, впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха; он не шевелится, ждет и что-то держит в руках… Не разбойник ли это? Фигура приближается, растет, вот она поравнялась с бричкой, и вы

видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на людей и внушают подозрение.

А когда восходит луна, ночь становится бледной и томной. Мглы как не бывало. Воздух прозрачен, свеж и тепел, всюду хорошо видно и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры, похожие на монахов, на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят угрюмее. Чаще и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное «а-а!» и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные, причудливые образы… Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности

неба можно судить только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова.

Едешь час-другой… Попадается на пути молчаливый старик-курган или каменная баба, поставленная Бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землею ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и всё то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в глубоком небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!

— Тпрр! Здорово, Пантелей! Всё благополучно?

— Слава Богу, Иван Иваныч!

— Не видали, ребята, Варламова?

— Нет, не видали.

Егорушка проснулся и открыл глаза. Бричка стояла. Направо по дороге далеко вперед тянулся обоз, около которого сновали какие-то люди. Все возы, потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади — маленькими и коротконогими.

— Так мы, значит, теперь к молокану поедем! — громко говорил Кузьмичов. — Жид сказывал, что Варламов у молокана ночует. В таком случае прощайте, братцы! С Богом!

— Прощайте, Иван Иваныч! — ответило несколько голосов.

— Вот что, ребята, — живо сказал Кузьмичов, — вы бы взяли с собой моего парнишку! Что ему с нами зря болтаться? Посади его, Пантелей, к себе на тюк и пусть себе едет помаленьку, а мы догоним. Ступай, Егор! Иди, ничего!..

Егорушка слез с передка. Несколько рук подхватило его, подняло высоко вверх, и он очутился на чем-то большом, мягком и слегка влажном от росы. Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко.

— Эй, возьми свою пальтишку! — крикнул где-

то далеко внизу Дениска.

Пальто и узелок, подброшенные снизу, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чем думать, положил под голову узелок, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия.

«Спать, спать, спать…» — думал он.

— Вы же, черти, его не забижайте! — послышался снизу голос Дениски.

— Прощайте, братцы! С Богом! — крикнул Кузьмичов. — Я на вас надеюсь!

— Будьте покойны, Иван Иваныч!

Дениска ахнул на лошадей, бричка взвизгнула и покатила, но уж не по дороге, а куда-то в сторону. Минуты две было тихо, точно обоз уснул, и только слышалось, как вдали мало-помалу замирало лязганье ведра, привязанного к задку брички. Но вот впереди обоза кто-то крикнул:

— Кирюха, тро-о-гай!

Заскрипел самый передний воз, за ним другой, третий… Егорушка почувствовал, как воз, на котором он лежал, покачнулся и тоже заскрипел. Обоз тронулся. Егорушка покрепче взялся рукой за веревку, которою был перевязан тюк, еще засмеялся от удовольствия, поправил в кармане пряник и стал засыпать так, как он обыкновенно

засыпал у себя дома в постели…

Когда он проснулся, уже восходило солнце; курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряженно пялило свои лучи во все стороны и заливало горизонт золотом. Егорушке показалось, что оно было не на своем месте, так как вчера оно восходило сзади за его спиной, а сегодня много левее… Да и вся местность не походила на вчерашнюю. Холмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невеселая равнина; кое-где на ней высились небольшие курганы, и летали вчерашние грачи. Далеко впереди белели колокольни и избы какой-то деревни; по случаю воскресного дня хохлы сидели дома, пекли и варили — это видно было по дыму, который шел изо всех труб и сизой прозрачной пеленой висел над деревней. В промежутках между изб и за церковью синела река, а за нею туманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги; то была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказоч-

ные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно, в самом деле, подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди, вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника, и что еще не вымерли богатырские кони. Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук шесть высоких, рядом скачущих колесниц, вроде тех, какие он видывал на рисунках в Священной истории; заложены эти колесницы в шестерки диких, бешеных лошадей и своими высокими колесами поднимают до неба облака пыли, а лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях. И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали!

По правой стороне дороги на всем её протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проволоками. Становясь всё меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких, тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы, кобчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз.

Егорушка лежал на самом заднем возу и мог поэтому видеть весь обоз. Всех подвод в обозе

было около двадцати и на каждые три подводы приходилось по одному возчику. Около заднего воза, где был Егорушка, шел старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый, как о. Христофор, но с лицом, бурым от загара, строгим и задумчивым. Очень может быть, что этот старик не был ни строг, ни задумчив, но его красные веки и длинный, острый нос придавали его лицу строгое, сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьезном и в одиночку. Как и на о. Христофоре, на нем был широкополый цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усеченный конус, чем на цилиндр. Ноги его были босы. Вероятно, по привычке, приобретенной в холодные зимы, когда не раз, небось, приходилось ему мерзнуть около обоза, он на ходу похлопывал себя по бедрам и притопывал ногами. Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на него и сказал, пожимаясь, как от мороза:

— А, проснулся, молодчик! Сынком Ивану Ивановичу-то доводишься?

— Нет, племянник…

— Ивану Иванычу-то? А я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня больные, стуженые, а без сапогов оно выходит слободнее…

Слободнее, молодчик… То есть без сапогов-то… Значит, племянник? А он хороший человек, ничего… Дай Бог здоровья… Ничего… Я про Ивана Иваныча-то… К молокану поехал… О, Господи, помилуй!

Старик и говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая как следует рта; и губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них, точно у него замерзли губы. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим.

Дальше через две подводы шел с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет сорока. Когда он оглянулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с губчатой шишкой под правым глазом. Кроме этой, очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примета, резко бросавшаяся в глаза: в левой руке держал он кнут, а правою помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором; изредка он брал кнут под мышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос.

Следующий за ним подводчик представлял из себя длинную, прямолинейную фигуру с силь-

но покатыми плечами и с плоской, как доска, спиной.

Он держался прямо, как будто маршировал или проглотил аршин, руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки, и шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колен и стараясь сделать шаг возможно пошире; когда старик или обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал делать только один и потому казалось, что он идет медленнее всех и отстает. Лицо у него было подвязано тряпкой и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки; одет он был в короткую хохлацкую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары навыпуск, а обут в лапти.

Тех, кто был дальше, Егорушка уже не разглядывал. Он лег животом вниз, расковырял в тюке дырочку и от нечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз начавши разговор, он уж не прекращал его.

— Ты куда же едешь? — спросил он, притопывая ногами.

— Учиться, — ответил Егорушка.

— Учиться? Ага… Ну, помогай Царица Небесная. Так. Ум хорошо, а два лучше. Одному человеку Бог один ум дает, а другому два ума, а иному и три… Иному три, это верно… Один ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братуша, хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то что жить, и помирать легче. Помирать-то… А помрем все как есть.

Старик почесал себе лоб, взглянул красными глазами вверх на Егорушку и продолжал:

— Максим Николаич, барин из-под Славяносербска, в прошлом годе тоже повез своего парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а парнишка ничего, хороший… Дай Бог здоровья, славные господа. Да, тоже вот повез в ученье… В Славяносербском нету такого заведения, чтоб, стало быть, до науки доводить. Нету… А город ничего, хороший… Школа обыкновенная, для простого звания есть, а чтоб насчет большого ученья, таких нету… Нету, это верно. Тебя как звать?

— Егорушка.

— Стало быть, Егорий… Святого великомученика Егоргия Победоносца числа двадцать третьего апреля. А мое святое имя Пантелей… Пантелей

Захаров Холодов… Мы Холодовы будем… Сам я уроженный, может, слыхал, из Тима, Курской губернии. Браты мои в мещане отписались и в городе мастерством занимаются, а я мужик… Мужиком остался. Годов семь назад ездил я туда… домой то есть. И в деревне был, и в городе… В Тиме, говорю, был. Тогда, благодарить Бога, все живы и здоровы были, а теперь не знаю… Может, кто и помер… А помирать уж время, потому все старые, есть которые постаршее меня. Смерть ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет пуще лиха, как наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало быть, в чертоги Божии запрету тебе не было, Варваре великомученице молись. Она ходатайница. Она, это верно… Потому ей Бог в небесех такое положение определил, чтоб, значит, каждый имел полную праву ее насчет покаяния молить.

Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет. Говорил он вяло, себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время успел рассказать о многом. Всё рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может,

он говорил только для того, чтобы теперь утром после ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям: все ли они дома? Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под Славяносербска:

— Да, повез парнишку… Повез, это верно…

Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет тридцати, русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плеч и кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху навыпуск. Этот разразился басистым кашляющим смехом и закричал:

— Братцы, Дымов змея убил! Ей-Богу!

Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливцам: в его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость. Кончив хлестать, русый Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку.

— Это не змея, а уж, — крикнул кто-то.

Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками.

— Каторжный! — закричал он глухим, плачущим голосом. — За что ты ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь, ужика убил! А ежели бы тебя так?

— Ужа нельзя убивать, это верно… — покойно забормотал Пантелей. — Нельзя… Это не гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная… Человека любит… Уж-то…

Дымову и чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим возам. Когда задняя подвода поравнялась с тем местом, где лежал убитый уж, человек с подвязанным лицом, стоящий над ужом, обернулся к Пантелею и спросил плачущим голосом:

— Дед, ну за что он убил ужика?

Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое, больное и тоже как будто тусклое, а подбородок был красен и представлялся сильно опухшим.

— Дед, ну за что убил? — повторил он, шагая

рядом с Пантелеем.

— Глупый человек, руки чешутся, оттого и убил, — ответил старик. — А ужа бить нельзя… Это верно… Дымов, известно, озорник, всё убьет, что под руку попадется, а Кирюха не вступился. Вступиться бы надо, а он — ха-ха-ха, да хо-хо-хо… А ты, Вася, не серчай… Зачем серчать? Убили, ну и Бог с ними… Дымов озорник, а Кирюха от глупого ума… Ничего… Люди глупые, непонимающие, ну и Бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно… Потому человек образованный, а они глупые… Емельян-то… Он не тронет.

Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав свое имя, остановился и, выждав, когда Пантелей и Вася поравнялись с ним, пошел рядом.

— О чем разговор? — спросил он сиплым, придушенным голосом.

— Да вот Вася серчает, — сказал Пантелей. — Я ему разные слова, чтобы он не серчал, значит… Эх, ножки мои больные, стуженые! Э-эх! Раззуделись ради воскресенья, праздничка Господня!

— Это от ходьбы, — заметил Вася.

— Не, паря, не… Не от ходьбы. Когда хожу, слов-

но легче, когда ложусь да согреюсь — смерть моя. Ходить мне вольготней.

Емельян в рыжем пальто стал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крякнул.

— Нету у меня голосу! — сказал он. — Чистая напасть! Всю ночь и утро мерещится мне тройное «Господи, помилуй», что мы на венчании у Мариновского пели; сидит оно в голове и в глотке… так бы, кажется, и спел, а не могу! Нету голосу!

Он помолчал минуту, о чем-то думая, и продолжал:

— Пятнадцать лет был в певчих, во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было, а как, чтоб его шут, выкупался в третьем году в Донце, так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голосу всё равно, что работнику без руки.

— Это верно, — согласился Пантелей.

— Об себе я так понимаю, что я пропащий человек и больше ничего.

В это время Вася нечаянно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше.

— И паничок с нами едет! — сказал он и прикрыл нос рукавом, точно застыдившись. — Какой

извозчик важный! Оставайся с нами, будешь с обозом ездить, шерсть возить.

Мысль о совместимости в одном теле паничка с извозчиком показалась ему, вероятно, очень курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль. Емельян тоже взглянул вверх на Егорушку, но мельком и холодно. Он был занят своими мыслями, и если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки. Не прошло и пяти минут, как он опять замахал рукой, потом, расписывая своим спутникам красоты венчального «Господи, помилуй», которое ночью пришло ему на память, взял кнут под мышку и замахал обеими руками.

За версту от деревни обоз остановился около колодца с журавлем. Опуская в колодезь свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и сунул в темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, так что Егорушке были видны одни только его короткие ноги, едва касавшиеся земли; увидев далеко на дне колодца отражение своей головы, он обрадовался и залился глупым, басовым смехом, а колодезное эхо ответило ему тем же; когда он поднялся, его лицо и шея были красны, как кумач. Первый подбежал пить Дымов. Он пил со смехом, часто отрываясь

от ведра и рассказывая Кирюхе о чем-то смешном, потом поперхнулся и громко, на всю степь, произнес штук пять нехороших слов. Егорушка не понимал значения подобных слов, но что они были дурные, ему было хорошо известно. Он знал об отвращении, которое молчаливо питали к ним его родные и знакомые, сам, не зная почему, разделял это чувство и привык думать, что одни только пьяные да буйные пользуются привилегией произносить громко эти слова. Он вспомнил убийство ужа, прислушался к смеху Дымова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти. И как нарочно, Дымов в это время увидел Егорушку, который слез с воза и шел к колодцу; он громко засмеялся и крикнул:

— Братцы, старик ночью мальчишку родил!

Кирюха закашлялся от басового смеха. Засмеялся и еще кто-то, а Егорушка покраснел и окончательно решил, что Дымов очень злой человек.

Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным; в каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбоченивался, говорил и смеялся громче всех и имел такой вид, как будто собирался поднять одной

рукой что-то очень тяжелое и удивить этим весь мир. Его шальной насмешливый взгляд скользил по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы еще убить от нечего делать и над чем бы посмеяться. По-видимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем не интересовался мнением Егорушки… А Егорушка уж всей душой ненавидел его русую голову, чистое лицо и силу, с отвращением и страхом слушал его смех и придумывал, какое бы бранное слово сказать ему в отместку.

Пантелей тоже подошел к ведру. Он вынул из кармана зеленый лампадный стаканчик, вытер его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил, потом еще раз зачерпнул, завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман.

— Дед, зачем ты пьешь из лампадки? — удивился Егорушка.

— Кто пьет из ведра, а кто из лампадки, — ответил уклончиво старик. — Каждый по-своему… Ты из ведра пьешь, ну и пей на здоровье…

— Голубушка моя, матушка-красавица, — заговорил вдруг Вася ласковым, плачущим голосом. — Голубушка моя!

Глаза его были устремлены вдаль, они замас-

лились, улыбались, и лицо приняло такое же выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку.

— Кому это ты? — спросил Кирюха.

— Лисичка-матушка… легла на спину и играет, словно собачка…

Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался. Зрение у него, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему только вглядеться в даль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей. Немудрено увидеть убегающего зайца или летящую дрохву — это видел всякий, проезжавший степью, — но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни, когда они не бегут, не прячутся и не глядят встревоженно по сторонам. А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои «точки». Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который видели все, у Васи был еще другой мир,

свой собственный, никому не доступный и, вероятно, очень хороший, потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему.

Когда обоз тронулся дальше, в церкви зазвонили к обедне.

V

Обоз расположился в стороне от деревни на берегу реки. Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько верб, но тень от них падала не на землю, а на воду, где пропадала даром, в тени же под возами было душно и скучно. Вода, голубая оттого, что в ней отражалось небо, страстно манила к себе.

Подводчик Степка, на которого только теперь обратил внимание Егорушка, восемнадцатилетний мальчик-хохол, в длинной рубахе, без пояса и в широких шароварах навыпуск, болтавшихся при ходьбе как флаги, быстро разделся, сбежал вниз по крутому бережку и бултыхнулся в воду. Он раза три нырнул, потом поплыл на спине и закрыл от удовольствия глаза. Лицо его улыбалось и морщилось, как будто ему было щекотно, больно и смешно.

В жаркий день, когда некуда деваться от зноя и духоты, плеск воды и громкое дыхание купающегося человека, действуют на слух, как хорошая музыка. Дымов и Кирюха, глядя на Степку, быстро разделись и, один за другим, с громким смехом

и предвкушая наслаждение, попадали в воду. И тихая, скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криком. Кирюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели утопить, а Дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу.

— Ге-ге-ге! — кричал он. — Лови, держи его!

Кирюха хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое же, как и на суше: глупое, ошеломленное, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове. Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку, а разбежался и полетел с полуторасаженной вышины. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал; какая-то сила, холодная и приятная наощупь, подхватила его и понесла обратно наверх. Он вынырнул и, фыркая, пуская пузыри, открыл глаза; но на реке как раз возле его лица отражалось солнце. Сначала ослепительные искры, потом радуги и темные пятна заходили в его глазах; он поспешил опять нырнуть, открыл в воде глаза и увидел что-то мутно-зеленое, похожее на небо в лунную ночь. Опять та же сила, не давая ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла его наверх, он вынырнул и вздохнул так глубоко, что стало просторно и свежо не только в груди, но

даже в животе. Потом, чтобы взять от воды всё, что только можно взять, он позволял себе всякую роскошь: лежал на спине и нежился, брызгался, кувыркался, плавал и на животе, и боком, и на спине, и встоячую — как хотел, пока не утомился. Другой берег густо порос камышом, золотился на солнце, и камышовые цветы красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш вздрагивал, кланялся своими цветами и издавал треск — то Степка и Кирюха «драли» раков.

— Рак! Гляди, братцы: рак! — закричал торжествующе Кирюха и показал действительно рака.

Егорушка поплыл к камышу, нырнул и стал шарить около камышовых кореньев. Копаясь в жидком, осклизлом иле, он нащупал что-то острое и противное, может быть, и в самом деле рака, но в это время кто-то схватил его за ногу и потащил наверх. Захлебываясь и кашляя, Егорушка открыл глаза и увидел перед собой мокрое смеющееся лицо озорника Дымова. Озорник тяжело дышал и, судя по глазам, хотел продолжать шалить. Он крепко держал Егорушку за ногу и уж поднял другую руку, чтобы схватить его за шею, но Егорушка с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь, что силач его утопит, рванулся от него и проговорил:

— Дурак! Я тебе в морду дам!

Чувствуя, что этого недостаточно для выражения ненависти, он подумал и прибавил:

— Мерзавец! Сукин сын!

А Дымов, как ни в чем но бывало, уже не замечал Егорушку, а плыл к Кирюхе и кричал:

— Ге-ге-гей! Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!

— А что ж? — согласился Кирюха. — Должно, тут много рыбы…

— Степка, побеги на деревню, попроси у мужиков бредня!

— Не дадут!

— Дадут! Ты попроси! Скажи, чтоб они заместо Христа ради, потому мы всё равно — странники.

— Это верно!

Степка вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болтая своими широкими шароварами, побежал к деревне. После столкновения с Дымовым вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Он вылез и стал одеваться. Пантелей и Вася сидели на крутом берегу, свесив вниз ноги, и глядели на купающихся. Емельян голый стоял по колена в воде у самого берега, держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другою гладил себя по телу. С костистыми лопатками, с шишкой

под глазом, согнувшийся и явно трусивший воды, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо у него было серьезное, строгое, глядел он на воду сердито, как будто собирался выбранить ее за то, что она когда-то простудила его в Донце и отняла у него голос.

— А ты отчего не купаешься? — спросил Егорушка у Васи.

— А так… Не люблю… — ответил Вася.

— Отчего это у тебя подбородок распух?

— Болит… Я, паничок, на спичечной фабрике работал… Доктор сказывал, что от этого самого у меня и черлюсть пухнет. Там воздух нездоровый. А кроме меня, еще у троих ребят черлюсть раздуло, а у одного так совсем сгнила.

Скоро вернулся Степка с бреднем. Дымов и Кирюха от долгого пребывания в воде стали лиловыми и охрипли, но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по глубокому месту, вдоль камыша; тут Дымову было по шею, а малорослому Кирюхе с головой; последний захлебывался и пускал пузыри, а Дымов, натыкаясь на колючие корни, падал и путался в бредне, оба барахтались и шумели, и из их рыбной ловли выходила одна шалость.

— Глыбоко, — хрипел Кирюха. — Ничего не

поймаешь!

— Не дергай, чёрт! — кричал Дымов, стараясь придать бредню надлежащее положение. — Держи руками!

— Тут вы не поймаете! — кричал им с берега Пантелей. — Только рыбу пужаете, дурни! Забирайте влево! Там мельчее!

Раз над бреднем блеснула крупная рыбешка; все ахнули, а Дымов ударил кулаком по тому месту, где она исчезла, и на лице его выразилась досада.

— Эй! — крикнул Пантелей и притопнул ногами. — Прозевали чикамаса! Ушел!

Забирая влево, Дымов и Кирюха мало-помалу выбрались на мелкое, и тут ловля пошла настоящая. Они забрели от подвод шагов на триста; видно было, как они, молча и еле двигая ногами, стараясь забирать возможно глубже и поближе к камышу, волокли бредень, как они, чтобы испугать рыбу и загнать ее к себе в бредень, били кулаками по воде и шуршали в камыше. От камыша они шли к другому берегу, тащили там бредень, потом с разочарованным видом, высоко поднимая колена, шли обратно к камышу. О чем-то они говорили, но о чем — не было слышно. А солнце жгло им в спины, кусались мухи, и тела их

из лиловых стали багровыми. За ними с ведром в руках, засучив рубаху под самые подмышки и держа ее зубами за подол, ходил Степка. После каждой удачной ловли он поднимал вверх какую-нибудь рыбу и, блестя ею на солнце, кричал:

— Поглядите, какой чикамас! Таких уж штук пять есть!

Видно было, как, вытащив бредень, Дымов, Кирюха и Степка всякий раз долго копались в иле, что-то клали в ведро, что-то выбрасывали; изредка что-нибудь попавшее в бредень они брали с рук на руки, рассматривали с любопытством, потом тоже бросали…

— Что там? — кричали им с берега.

Степка что-то отвечал, но трудно было разобрать его слова. Вот он вылез из воды и, держа ведро обеими руками, забывая опустить рубаху, побежал к подводам.

— Уже полное! — кричал он, тяжело дыша. — Давайте другое!

Егорушка заглянул в ведро: оно было полно; из воды высовывала свою некрасивую морду молодая щука, а возле нее копошились раки и мелкие рыбешки. Егорушка запустил руку на дно и взболтал воду; щука исчезла под раками, а вместо нее всплыли наверх окунь и линь. Вася

тоже заглянул в ведро. Глаза его замаслились и лицо стало ласковым, как раньше, когда он видел лисицу. Он вынул что-то из ведра, поднес ко рту и стал жевать. Послышалось хрустенье.

— Братцы, — удивился Степка, — Васька пескаря живьем ест! Тьфу!

— Это не пескарь, а бобырик, — покойно ответил Вася, продолжая жевать.

Он вынул изо рта рыбий хвостик, ласково поглядел на него и опять сунул в рот. Пока он жевал и хрустел зубами, Егорушке казалось, что он видит перед собой не человека. Пухлый подбородок Васи, его тусклые глаза, необыкновенно острое зрение, рыбий хвостик во рту и ласковость, с какою он жевал пескаря, делали его похожим на животное.

Егорушке стало скучно возле него. Да и рыбная ловля уже кончилась. Он прошелся около возов, подумал и от скуки поплелся к деревне.

Немного погодя он уже стоял в церкви и, положив лоб на чью-то спину, пахнувшую коноплей, слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилась к концу. Егорушка ничего не понимал в церковном пении и был равнодушен к нему. Он послушал немного, зевнул и стал рассматривать затылки и спины. В одном затылке, рыжем и

мокром от недавнего купанья, он узнал Емельяна. Затылок был выстрижен под скобку и выше, чем принято; виски были тоже выстрижены выше, чем следует, и красные уши Емельяна торчали, как два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своем месте. Глядя на затылок и на уши, Егорушка почему-то подумал, что Емельян, вероятно, очень несчастлив. Он вспомнил его дирижирование, сиплый голос, робкий вид во время купанья и почувствовал к нему сильную жалость. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое.

— А я здесь! — сказал он, дернув его за рукав.

Люди, поющие в хоре тенором или басом, особенно те, которым хоть раз в жизни приходилось дирижировать, привыкают смотреть на мальчиков строго и нелюдимо. Эту привычку не оставляют они и потом, переставая быть певчими. Обернувшись к Егорушке, Емельян поглядел на него исподлобья и сказал:

— Не балуйся в церкви!

Затем Егорушка пробрался вперед, поближе к иконостасу. Тут от увидел интересных людей. Впереди всех по правую сторону на ковре стояли какие-то господин и дама. Позади них стояло по стулу. Господин был одет в свежевыглажен-

ную чечунчовую пару,[13] стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь, и высоко держал свой синий, бритый подбородок. В его стоячих воротничках, в синеве подбородка, в небольшой лысине и в трости чувствовалось очень много достоинства. От избытка достоинства шея его была напряжена и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и полететь вверх. А дама, полная и пожилая, в белой шелковой шали, склонила голову набок и глядела так, как будто только что сделала кому-то одолжение и хотела сказать: «Ах, не беспокойтесь благодарить! Я этого не люблю...» Вокруг ковра густой стеной стояли хохлы.

Егорушка подошел к иконостасу и стал прикладываться к местным иконам. Перед каждым образом он не спеша клал земной поклон, не вставая с земли, оглядывался назад на народ, потом вставал и прикладывался. Прикосновение лбом к холодному полу доставляло ему большое удовольствие. Когда из алтаря вышел сторож с длинными щипцами, чтобы тушить свечи,

---

[13] Примечания: 13

...чечунчовую пару... — устаревшая (обычно употреблявшаяся Чеховым) форма слова чесучовый (чесунчовый), т. е. сделанный из чесучи — плотной полотняной или шелковой ткани.

Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему.

— Раздавали уж просфору? — спросил он.

— Нету, нету… — угрюмо забормотал сторож. — Нечего тут…

Обедня кончилась. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел бродить по площади. На своем веку перевидал он немало деревень, площадей и мужиков, и всё, что теперь попадалось ему на глаза, совсем не интересовало его. От нечего делать, чтобы хоть чем-нибудь убить время, он зашел в лавку, над дверями которой висела широкая кумачовая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещенных половин: в одной продавались красный товар[14] и бакалея, а в другой стояли бочки с дегтем и висели на потолке хомуты; из той, другой, шел вкусный запах кожи и дегтя. Пол в лавке был полит; поливал его, вероятно, большой фантазер и вольнодумец, потому что он весь был покрыт узорами и кабалистическими знаками. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому великоросс. Он пил чай вприкуску

---

[14] Примечания: 14

…красный товар… — фабричные ткани.

и после каждого глотка испускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенное равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: «Ужо погоди, задам я тебе!»

— Дай мне на копейку подсолнухов! — обратился к нему Егорушка.

Лавочник поднял брови, вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушки на копейку подсолнухов, причем мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящики с пряниками, подумал и спросил, указывая на мелкие вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина:

— Почем эти пряники?

— Копейка пара.

Егорушка достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, и спросил:

— А такие пряники у тебя почем?

Лавочник взял в руки пряник, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь.

— Такие? — спросил он.

Потом поднял другую бровь, подумал и ответил:

— Три копейки пара…

Наступило молчание.

— Вы чьи? — спросил лавочник, наливая себе чаю из красного медного чайника.

— Племянник Ивана Иваныча.

— Иваны Иванычи разные бывают, — вздохнул лавочник; он поглядел через Егорушкину голову на дверь, помолчал и спросил: — Чайку не желаете ли?

— Пожалуй… — согласился Егорушка с некоторой неохотой, хотя чувствовал сильную тоску по утреннем чае.

Лавочник налил ему стакан и подал вместе с огрызенным кусочком сахару. Егорушка сел на складной стул и стал пить. Он хотел еще спросить, сколько стоит фунт миндаля в сахаре, и только что завел об этом речь, как вошел покупатель, и хозяин, отставив в сторону свой стакан, занялся делом. Он повел покупателя в ту половину, где пахло дегтем, и долго о чем-то разговаривал с ним. Покупатель, человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, всё время в знак несогласия мотал головой и пятился к двери. Лавочник убедил его в чем-то и начал сыпать ему овес в большой мешок.

— Хиба це овес? — сказал печально покупатель. — Це не овес, а полова, курам на смих… Ни, пиду к Бондаренку!

Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костер. Это подводчики варили себе обед. В дыму стоял Степка и большой зазубренной ложкой мешал в котле. Несколько в стороне, с красными от дыма глазами, сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки.



«Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костер…» (гл. V) Рисунок В. М. Конашевина. ГРМ. С.-Петербург

Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал сиплым голоском: «Тебе поем…» Дымов бродил около лошадей.

Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, всполоснули и из ведра вывалили всё в кипевшую воду.

— Класть сала? — спросил Степка, снимая ложкой пену.

— Зачем? Рыба свой сок пустит, — ответил Кирюха.

Перед тем, как снимать с огня котел, Степка всыпал в воду три пригоршни пшена и ложку соли; в заключение он попробовал, почмокал губами, облизал ложку и самодовольно крякнул — это значило, что каша уже готова.

Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками.

— Вы! Дайте парнишке ложку! — строго заметил Пантелей. — Чай, небось, тоже есть хочет!

— Наша еда мужицкая!.. — вздохнул Кирюха.

— И мужицкая пойдет во здравие, была бы охота.

Егорушке дали ложку. Он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя в него, как в яму. От каши пахло рыбной сыростью, то и дело среди пшена попадалась рыбья чешуя; раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из котла прямо руками; особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил в каше не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушке очень вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне и жевал хлеб.

— Дед, а ты чего не ешь? — спросил его Емельян.

— Не ем я раков... Ну их! — сказал старик и брезгливо отвернулся.

Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга: все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своем прошлом они, все до одного, говорили с

восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить; Егорушка еще не знал этого, и, прежде чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как всё было дешево! Теперь же дороги стали короче, купцы скупее, народ беднее, хлеб дороже, всё измельчало и сузилось до крайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательный голос и отлично читал ноты, теперь же он обратился в мужика и кормится милостями брата, который посылает его со своими лошадями и берет себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике; Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ считался лучшим троечником.[15] Дымов, сын зажиточного мужика, жил в свое удовольствие, гулял и не знал горя, но едва ему минуло двадцать лет, как строгий,

[15] Примечания: 15

...лучшим троечником... — Троечник — ямщик, извозчик на тройке.

крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз как бобыля-работника. Один Степка молчал, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь.

Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он исподлобья оглядел товарищей и остановил свой взгляд на Егорушке.

— Ты, нехристь, сними шапку! — сказал он грубо. — Нешто можно в шапке есть? А еще тоже барин!

Егорушка снял шляпу и не сказал ни слова, но уж не понимал вкуса каши и не слышал, как вступились за него Пантелей и Вася. В его груди тяжело заворочалась злоба против озорника, и он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь зло.

После обеда все поплелись к возам и повалились в тень.

— Дед, скоро мы поедем? — спросил Егорушка у Пантелея.

— Когда Бог даст, тогда и поедем… Сейчас не поедешь, жарко… Ох, Господи твоя воля, Владычица… Ложись, парнишка!

Скоро из-под возов послышался храп. Егорушка хотел было опять пойти в деревню, но подумал,

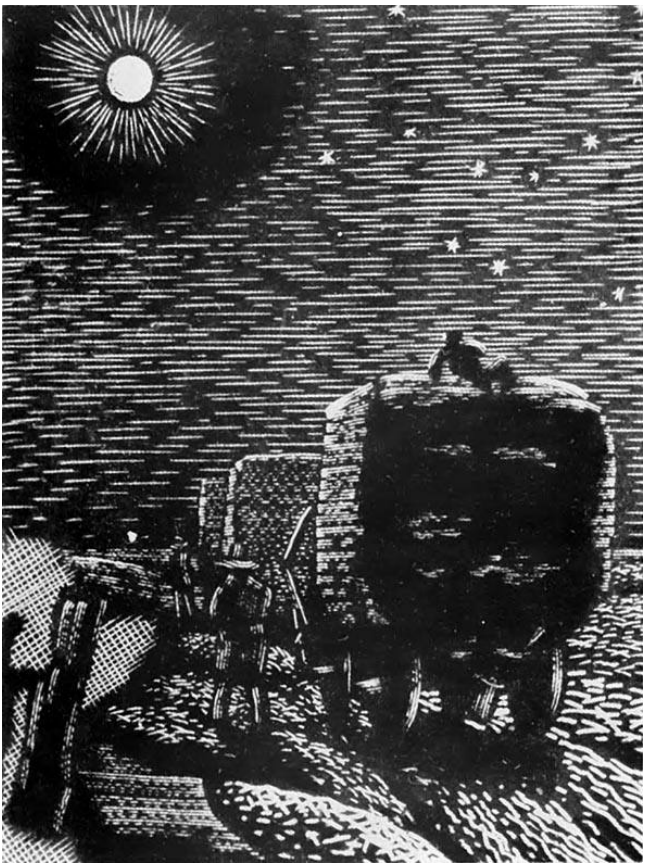
позевал и лег рядом со стариком.

VI

Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, когда садилось солнце.

Опять Егорушка лежал на тюке, воз тихо скрипел и покачивался, внизу шел Пантелей, притопывал ногами, хлопал себя по бедрам и бормотал; в воздухе по-вчерашнему стрекотала степная музыка.

Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, глядел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасала; ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег; день прошел благополучно, наступила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидеть у себя дома на небе… Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо и опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звезды.



«Видел Егорушка, как мало-по-малу темнело небо и опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звезды…» (гл. VI)

Гравюра В. М. Конашевича. ИРЛИ. С.-Петербург

Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и всё то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены. Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием; приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной…

Егорушка думал о бабушке, которая спит теперь на кладбище под вишневыми деревьями; он вспомнил, как она лежала в гробу с медны-

ми пятаками на глазах, как потом ее прикрыли крышкой и опустили в могилу; припомнился ему и глухой стук комков земли о крышку… Он представил себе бабушку в тесном и темном гробу, всеми оставленную и беспомощную. Его воображение рисовало, как бабушка вдруг просыпается и, не понимая, где она, стучит в крышку, зовет на помощь и, в конце концов, изнемогши от ужаса, опять умирает. Вообразил он мертвыми мамашу, о. Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но как он ни старался вообразить себя самого в темной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым, это не удавалось ему; лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда не умрет…

А Пантелей, которому пора уже было умирать, шел внизу и делал перекличку своим мыслям.

— Ничего… хорошие господа… — бормотал он. — Повезли парнишку в ученье, а как он там, не слыхать про то… В Славяносербском, говорю, нету такого заведения, чтоб до большого ума доводить… Нету, это верно… А парнишка хороший, ничего… Вырастет, отцу будет помогать. Ты, Егорий, теперь махонький, а станешь большой, отца-мать кормить будешь. Так от Бога положено… Чти отца твоего и матерь твою… У меня у

самого были детки, да погорели… И жена сгорела, и детки… Это верно, под Крещенье ночью загорелась изба… Меня-то дома не было, я в Орел ездил. В Орел… Марья-то выскочила на улицу, да вспомнила, что дети в избе спят, побежала назад и сгорела с детками… Да… На другой день одни только косточки нашли.

Около полуночи подводчики и Егорушка опять сидели вокруг небольшого костра. Пока разгорался бурьян, Кирюха и Вася ходили за водой куда-то в балочку; они исчезли в потемках, но всё время слышно было, как они звякали ведрами и разговаривали; значит, балочка была недалеко. Свет от костра лежал на земле большим мигающим пятном; хотя и светила луна, но за красным пятном всё казалось непроницаемо черным. Подводчикам свет бил в глаза, и они видели только часть большой дороги; в темноте едва заметно в виде гор неопределенной формы обозначались возы с тюками и лошади. В двадцати шагах от костра, на границе дороги с полем стоял деревянный могильный крест, покосившийся в сторону. Егорушка, когда еще не горел костер и можно было видеть далеко, заметил, что точно такой же старый, покосившийся крест стоял на другой стороне большой дороги.

Вернувшись с водой, Кирюха и Вася налили полный котел и укрепили его на огне. Степка с зазубренной ложкой в руках занял свое место в дыму около котла и, задумчиво глядя на воду, стал дожидаться, пока покажется пена. Пантелей и Емельян сидели рядом, молчали и о чем-то думали. Дымов лежал на животе, подперев кулаками голову, и глядел на огонь; тень от Степки прыгала по нем, отчего красивое лицо его то покрывалось потемками, то вдруг вспыхивало… Кирюха и Вася бродили поодаль и собирали для костра бурьян и берест. Егорушка, заложив руки в карманы, стоял около Пантелея и смотрел, как огонь ел траву.

Все отдыхали, о чем-то думали, мельком поглядывали на крест, по которому прыгали красные пятна. В одинокой могиле есть что-то грустное, мечтательное и в высокой степени поэтическое…

Слышно, как она молчит, и в этом молчании чувствуется присутствие души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо или этой душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, трава печальней и кажется, что кузнецы кричат сдержанней… И нет того прохожего, который не помянул бы одинокой души и не

оглядывался бы на могилу до тех пор, пока она не останется далеко позади и не покроется мглою…

— Дед, зачем это крест стоит? — спросил Егорушка.

Пантелей поглядел на крест, потом на Дымова и спросил:

— Микола, это, бывает, не то место, где косари купцов убили?

Дымов нехотя приподнялся на локте, посмотрел на дорогу и ответил:

— Оно самое…

Наступило молчание. Кирюха затрещал сухой травой, смял ее в ком и сунул под котел. Огонь ярче вспыхнул; Степку обдало черным дымом, и в потемках по дороге около возов пробежала тень от костра.

— Да, убили… — сказал нехотя Дымов. — Купцы, отец с сыном, ехали образа продавать. Остановились тут недалече в постоялом дворе, что теперь Игнат Фомин держит. Старик выпил лишнее и стал хвалиться, что у него с собой денег много. Купцы, известно, народ хвастливый, не дай Бог… Не утерпит, чтоб не показать себя перед нашим братом в лучшем виде. А в ту пору на постоялом дворе косари ночевали. Ну, услыхали это они, как купец хвастает, и взяли себе во внимание.

— О, Господи… Владычица! — вздохнул Пантелей.

— На другой день чуть свет, — продолжал Дымов, — купцы собрались в дорогу, а косари с ними ввязались. «Пойдем, ваше степенство, вместе. Веселей, да и опаски меньше, потому здесь место глухое…» Купцы, чтоб образов не побить, шагом ехали, а косарям это на руку…

Дымов стал на колени и потянулся.

— Да, — продолжал он, зевая. — Всё ничего было, а как только купцы доехали до этого места, косари и давай чистить их косами. Сын, молодец был, выхватил у одного косу и тоже давай чистить… Ну, конечно, те одолели, потому их человек восемь было. Изрезали купцов так, что живого места на теле не осталось; кончили свое дело и стащили с дороги обоих, отца на одну сторону, а сына на другую. Супротив этого креста на той стороне еще другой крест есть… Цел ли — не знаю… Отсюда не видать.

— Цел, — сказал Кирюха.

— Сказывают, денег потом нашли мало.

— Мало, — подтвердил Пантелей. — Рублей сто нашли.

— Да, а трое из них потом померли, потому купец их тоже больно косой порезал… Кровью

сошли. Одному купец руку отхватил, так тот, сказывают, версты четыре без руки бежал и под самым Куриковым его на бугорочке нашли. Сидит на корточках, голову на колени положил, словно задумавшись, а поглядели — в нем души нет, помер…

— По кровяному следу его нашли… — сказал Пантелей.

Все посмотрели на крест, и опять наступила тишина. Откуда-то, вероятно из балочки, донесся грустный крик птицы: «Сплю! сплю! сплю!..»

— Злых людей много на свете, — сказал Емельян.

— Много, много! — подтвердил Пантелей и придвинулся поближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко. — Много, — продолжал он вполголоса. — Перевидал я их на своем веку видимо-невидимо… Злых-то людей… Святых и праведных видел много, а грешных и не перечесть… Спаси и помилуй, Царица Небесная… Помню раз, годов тридцать назад, а может и больше, вез я купца из Моршанска. Купец был славный, видный из себя и при деньгах… купец-то… Хороший человек, ничего… Вот, стало быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые дворы не то, что в

здешнем краю. Там дворы крытые на манер базов, или, скажем, как клуни[16] в хороших экономиях. Только клуни повыше будут. Ну, остановились мы и ничего себе. Купец мой в комнатке, я при лошадях, и всё как следует быть. Так вот, братцы, помолился я Богу, чтоб, значит, спать, и пошел походить по двору. А ночь была темная, зги не видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я этак немножко, вот как до возов примерно, и вижу — огонь брезжится. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились, и акромя меня с купцом других постояльцев не было… Откуда огню быть? Взяло меня сумнение… Подошел я поближе… к огню-то… Господи, помилуй и спаси, Царица Небесная! Смотрю, а у самой земли окошечко с решеткой… в доме-то… Лег я на землю и поглядел; как поглядел, так по всему моему телу и пошел мороз…

Кирюха, стараясь не шуметь, сунул в костер пук бурьяна. Дождавшись, когда бурьян перестал трещать и шипеть, старик продолжал:

— Поглядел я туда, а там подвал, большой такой, темный да сумный… На бочке фонарик горит. Посреди подвала стоят человек десять народу в

---

[16] Примечания: 16

Клуня — на юге России так называется рига.

красных рубахах, засучили рукава и длинные ножики точат… Эге! Ну, значит, мы в шайку попали, к разбойникам… Что тут делать? Побег я к купцу, разбудил его потихоньку и говорю: «Ты, говорю, купец, не пужайся, а дело наше плохо… Мы, говорю, в разбойничье гнездо попали». Он сменился с лица и спрашивает: «Что ж мы теперь, Пантелей, делать станем? При мне денег сиротских много… Насчет души, говорит, моей волен Господь Бог, не боюсь помереть, а, говорит, страшно сиротские деньги загубить…» Что тут прикажешь делать? Ворота запертые, некуда ни выехать, ни выйти… Будь забор, через забор перелезть можно, а то двор крытый!.. — «Ну, говорю, купец, ты не пужайся, а молись Богу. Может, Господь не захочет сирот обижать. Оставайся, говорю, и виду не подавай, а я тем временем, может, и придумаю что…» Ладно… Помолился я Богу, и наставил меня Бог на ум… Взлез я на свой тарантас и тихонько… тихонько, чтоб никто не слыхал, стал обдирать солому в стрехе, проделал дырку и вылез наружу. Наружу-то… Потом прыгнул я с крыши и побег по дороге что есть духу. Бежал я, бежал, замучился до смерти… Может, верст пять пробежал одним духом, а то и больше… Благодарить Бога, вижу — стоит деревня. Подбежал я к избе, стал стучать

в окно. «Православные, говорю, так и так, мол, не дайте христианскую душу загубить…» Побудил всех… Собрались мужики и пошли со мной… Кто с веревкой, кто с дубьем, кто с вилами… Сломали мы это в постоялом дворе ворота и сейчас в подвал… А разбойники ножики-то уж поточили и собрались купца резать. Забрали их мужики всех, как есть, перевязали и повели к начальству. Купец им на радостях три сотенных пожертвовал, а мне пять лобанчиков[17] дал и имя мое в поминанье к себе записал. Сказывают, потом в подвале костей человечьих нашли видимо-невидимо. Костей-то… Они, значит, грабили народ, а потом зарывали, чтоб следов не было… Ну, потом их в Моршанске через палачей наказывали.

Пантелей кончил рассказ и оглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену.

— Сало-то готово? — спросил его шёпотом Кирюха.

— Погоди маленько… Сейчас.

Степка, не отрывая глаз от Пантелея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к возам; скоро он вернулся с небольшой

---

[17] Примечания: 17

Лобанчик — золотой червонец.

деревянной чашкой и стал растирать в ней свиное сало.

— Ехал я в другой раз тоже с купцом… — продолжал Пантелей по-прежнему вполголоса и не мигая глазами. — Звали его, как теперь помню, Петр Григорьич. Хороший был человек… купец-то… Остановились мы таким же манером на постоялом дворе… Он в комнатке, я при лошадях… Хозяева, муж и жена, народ как будто хороший, ласковый, работники тоже словно бы ничего, а только, братцы, не могу спать, чует мое сердце! Чует, да и шабаш. И ворота отпертые, и народу кругом много, а всё как будто страшно, не по себе. Все давно позаснули, уж совсем ночь, скоро вставать надо, а я один только лежу у себя в кибитке и глаз не смыкаю, словно сыч какой. Только, братцы, это самое, слышу: туп! туп! туп! Кто-то к кибитке крадется. Высовываю голову, гляжу — стоит баба в одной рубахе, босая… — «Что тебе, говорю, бабочка?» А она вся трясется, это самое, лица на ей нет… — «Вставай, говорит, добрый человек! Беда… Хозяева лихо задумали… Хотят твоего купца порешить. Сама, говорит, слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались…» Ну, недаром сердце болело! — «Кто же ты сама?» — спрашиваю. — «А я, говорит, ихняя стряпуха…»

Ладно… Вылез я из кибитки и пошел к купцу. Разбудил его и говорю: «Так и так, говорю, Петр Григорьич, дело не совсем чисто… Успеешь, ваше степенство, выспаться, а теперь, пока есть время, одевайся, говорю, да подобру-здорову подальше от греха…» Только что он стал одеваться, как дверь отворилась, и здравствуйте… гляжу — Мать Царица! — входят к нам в комнатку хозяин с хозяйкой и три работника… Значит, и работников подговорили… Денег у купца много, так вот, мол, поделим… У всех у пятерых в руках по ножику длинному…

По ножику-то… Запер хозяин на замок двери и говорит: «Молитесь, проезжие, Богу… А ежели, говорит, кричать станете, то и помолиться не дадим перед смертью…» Где уж тут кричать? У нас от страху и глотку завалило, не до крику тут… Купец заплакал и говорит: «Православные! Вы, говорит, порешили меня убить, потому на мои деньги польстились. Так тому и быть, не я первый, не я последний; много уж нашего брата-купца на постоялых дворах перерезано. Но за что же, говорит, братцы православные, моего извозчика убивать? Какая ему надобность за мои деньги муки принимать?» И так это жалостно говорит! А хозяин ему: «Ежели, говорит, мы его в

живых оставим, так он первый на нас доказчик. Всё равно, говорит, что одного убить, что двух. Семь бед, один ответ… Молитесь Богу, вот и всё тут, а разговаривать нечего!» Стали мы с купцом рядышком на коленки, заплакали и давай Бога молить. Он деток своих вспоминает, я в ту пору еще молодой был, жить хотел… Глядим на образа, молимся, да так жалостно, что и теперь слеза бьет… А хозяйка, баба-то, глядит на нас и говорит: «Вы же, говорит, добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом и не молите Бога на нашу голову, потому мы это от нужды». Молились мы, молились, плакали, плакали, а Бог-то нас и услышал. Сжалился, значит… В самый раз, когда хозяин купца за бороду взял, чтоб, значит, ножиком его по шее полоснуть, вдруг кто-то ка-ак стукнет со двора по окошку! Все мы так и присели, а у хозяина руки опустились… Постучал кто-то по окошку да как закричит: «Петр Григорьич, кричит, ты здесь? Собирайся, поедем!» Видят хозяева, что за купцом приехали, испужались и давай Бог ноги… А мы скорей на двор, запрягли и — только нас и видели…

— Кто же это в окошко стучал? — спросил Дымов.

— В окошко-то? Должно, угодник Божий или

ангел. Потому акромя некому… Когда мы выехали со двора, на улице ни одного человека не было… Божье дело!

Пантелей рассказал еще кое-что, и во всех его рассказах одинаково играли роль «длинные ножики» и одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого, или сам сочинил их в далеком прошлом и потом, когда память ослабела, перемешал пережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого? Всё может быть, но странно одно, что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь Егорушка всё принимал за чистую монету и верил каждому слову, впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не было.

За кашей все молчали и думали о только что слышанном. Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный рассказ ни расскажи на Руси, как ни украшай его разбойничьими гнездами, длин-

ными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью, и разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то смолчит. Крест у дороги, темные тюки, простор и судьба людей, собравшихся у костра, — всё это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью.

Все ели из котла, Пантелей же сидел в стороне особняком и ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисовая и с крестиком. Егорушка, глядя на его, вспомнил о лампадном стаканчике и спросил тихо у Степки:

— Зачем это дед особо сидит?

— Он старой веры, — ответили шёпотом Стёпка и Вася, и при этом они так глядели, как будто говорили о слабости или тайном пороке.

Все молчали и думали. После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно. Вдруг среди тишины Вася выпрямился и, устремив свои тусклые глаза в одну точку, навострил уши.

— Что такое? — спросил его Дымов.

— Человек какой-то идет, — ответил Вася.

— Где ты его видишь?

— Во-он он! Чуть-чуть белеется…

Там, куда смотрел Вася, не было видно ничего, кроме потемок; все прислушались, но шагов не было слышно.

— По шляху он идет? — спросил Дымов.

— Не, полем… Сюда идет.

Прошла минута в молчании.

— А может, это по степи гуляет купец, что тут похоронен, — сказал Дымов.

Все покосились на крест, переглянулись и вдруг засмеялись; стало стыдно за свой страх.

— Зачем ему гулять? — сказал Пантелей. — Это только те по ночам ходят, кого земля не принимает. А купцы ничего… Купцы мученический венец приняли…

Но вот послышались шаги. Кто-то торопливо шел.

— Что-то несет, — сказал Вася.

Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян, но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи, кто-то кашлянул; мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса и подводчики вдруг увидели перед собой человека.

Огонь ли так мелькнул, или оттого, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого

человека, но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Эта была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка, одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет тридцати, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий; вообще всё у него казалось длинным и только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым.

Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги и в сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое, белое и на первый взгляд странное, а из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное.

Попав из потемок в световой круг, он остановился, как вкопанный, и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать: «Поглядите, какая у меня улыбка!» Потом он шагнул к костру, улыбнулся еще светлее и сказал:

— Хлеб да соль, братцы!

— Милости просим! — отвечал за всех Пан-

телей.

Незнакомец положил около костра то, что держал в руках — это была убитая дрохва, — и еще раз поздоровался.

Все подошли к дрохве и стали осматривать ее.

— Важная птица! Чем это ты ее? — спросил Дымов.

— Картечью… Дробью не достанешь, не подпустит… Купите, братцы! Я б вам за двугривенный отдал.

— А на что она нам? Она жареная годится, а вареная, небось, жесткая — не укусишь…

— Эх, досада! Ее бы к господам в экономию снесть, те бы полтинник дали, да далече — пятнадцать верст!

Неизвестный сел, снял ружье и положил его возле себя. Он казался сонным, томным, улыбался, щурился от огня и, по-видимому, думал о чем-то очень приятном. Ему дали ложку. Он стал есть.

— Ты кто сам? — спросил его Дымов.

Незнакомец не слышал вопроса; он не ответил и даже не взглянул на Дымова. Вероятно, этот улыбающийся человек не чувствовал и вкуса каши, потому что жевал как-то машинально, лениво, поднося ко рту ложку то очень полную,

то совсем пустую. Пьян он не был, но в голове его бродило что-то шальное.

— Я тебя спрашиваю: ты кто? — повторил Дымов.

— Я-то? — встрепенулся неизвестный. — Константин Звонык, из Ровного. Отсюда версты четыре.

И, желая на первых же порах показать, что он не такой мужик, как все, а получше, Константин поспешил добавить:

— Мы пасеку держим и свиней кормим.

— При отце живешь, али сам?

— Нет, теперь сам живу. Отделился. В этом месяце после Петрова дня оженился. Женатый теперь!.. Нынче восемнадцатый день, как обзаконился.

— Хорошее дело! — сказал Пантелей. — Жена ничего… Это Бог благословил…

— Молодая баба дома спит, а он по степу шатается, — засмеялся Кирюха. — Чудак!

Константин, точно его ущипнули за самое живое место, встрепенулся, засмеялся, вспыхнул…

— Да Господи, нету ее дома! — сказал он, быстро вынимая изо рта ложку и оглядывая всех радостно и удивленно. — Нету! Поехала к матери на два дня! Ей-Богу, она поехала, а я как неженатый…

Константин махнул рукой и покрутил головою; он хотел продолжать думать, но радость, которою светилось лицо его, мешала ему. Он, точно ему неудобно было сидеть, принял другую позу, засмеялся и опять махнул рукой. Совестно было выдавать чужим людям свои приятные мысли, но в то же время неудержимо хотелось поделиться радостью.

— Поехала в Демидово к матери! — сказал он, краснея и перекладывая на другое место ружье. — Завтра вернется… Сказала, что к обеду назад будет.

— А тебе скучно? — спросил Дымов.

— Да Господи, а то как же? Без году неделя, как оженился, а она уехала… А? У, да бедовая, накажи меня Бог! Там такая хорошая да славная, такая хохотунья да певунья, что просто чистый порох! При ней голова ходором ходит, а без нее вот словно потерял что, как дурак по степу хожу. С самого обеда хожу, хоть караул кричи.

Константин протер глаза, посмотрел на огонь и засмеялся.

— Любишь, значит… — сказал Пантелей.

— Там такая хорошая да славная, — повторил Константин, не слушая, — такая хозяйка, умная да разумная, что другой такой из простого звания

во всей губернии не сыскать. Уехала… А ведь скучает, я зна-аю! Знаю, сороку! Сказала, что завтра к обеду вернется… А ведь какая история! — почти крикнул Константин, вдруг беря тоном выше и меняя позу, — теперь любит и скучает, а ведь не хотела за меня выходить!

— Да ты ешь! — сказал Кирюха.

— Не хотела за меня выходить! — продолжал Константин, не слушая. — Три года с ней бился! Увидал я ее на ярмарке в Калачике, полюбил до смерти, хоть на шибеницу[18] полезай… Я в Ровном, она в Демидовом, друг от дружки за двадцать пять верст, и нет никакой моей возможности. Засылаю к ней сватов, а она: не хочу! Ах ты, сорока! Уж я ее и так, и этак, и сережки, и пряников, и меду полпуда — не хочу! Вот тут и поди. Оно, ежели рассудить, то какая я ей пара? Она молодая, красивая, с порохом, а я старый, скоро тридцать годов будет, да и красив очень: борода окладистая — гвоздем, лицо чистое — всё в шишках. Где ж мне с ней равняться! Разве вот только что богато живем, да ведь и они, Вахраменки, хорошо живут. Три пары волов и двух работников держат. Полюбил, братцы, и очумел… Не сплю, не ем, в голове

---

[18] Примечания: 18

Шибеница — виселица, дыба.

мысли и такой дурман, что не приведи Господи! Хочется ее повидать, а она в Демидове… И что ж вы думаете? Накажи меня Бог, не брешу, раза три на неделе туда пешком ходил, чтоб на нее поглядеть. Дело бросил! Такое затмение нашло, что даже в работники в Демидове хотел наниматься, чтоб, значит, к ней поближе. Замучился! Мать знахарку звала, отец раз десять бить принимался. Ну, три года промаялся и уж так порешил: будь ты трижды анафема, пойду в город и в извозчики… Значит, не судьба! На Святой пошел я в Демидово в последний разочек на нее поглядеть…

Константин откинул назад голову и закатился таким мелким, веселым смехом, как будто только что очень хитро надул кого-то.

— Гляжу, она с парубками около речки, — продолжал он. — Взяло меня зло… Отозвал я ее в сторонку и, может, с целый час ей разные слова… Полюбила! Три года не любила, а за слова полюбила!

— А какие слова? — спросил Дымов.

— Слова? И не помню… Нешто вспомнишь? Тогда, как вода из жолоба, без передышки: та-та-та-та! А теперь ни одного такого слова не выговорю… Ну, и пошла за меня… Поехала теперь, сорока, к матери, а я вот без нее по степу. Не

могу дома сидеть. Нет моей мочи!

Константин неуклюже высвободил из-под себя ноги, растянулся на земле и подпер голову кулаками, потом поднялся и опять сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюбленный и счастливый человек, счастливый до тоски; его улыбка, глаза и каждое движение выражали томительное счастье. Он не находил себе места и не знал, какую принять позу и что делать, чтобы не изнемогать от изобилия приятных мыслей. Излив перед чужими людьми свою душу, он, наконец, уселся покойно и, глядя на огонь, задумался.

При виде счастливого человека всем стало скучно и захотелось тоже счастья. Все задумались. Дымов поднялся, тихо прошелся около костра и, по походке, по движению его лопаток, видно было, что он томился и скучал. Он постоял, поглядел на Константина и сел.

А костер уже потухал. Свет уже не мелькал и красное пятно сузилось, потускнело… И чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уж видно было дорогу во всю ее ширь, тюки, оглобли, жевавших лошадей; на той стороне неясно вырисовывался другой крест…

Дымов подпер щеку рукой и тихо запел ка-

кую-то жалостную песню. Константин сонно улыбнулся и подтянул ему тонким голоском. Попели они с полминуты и затихли… Емельян встрепенулся, задвигал локтями и зашевелил пальцами.

— Братцы, — сказал он умоляюще. — Давайте споем что-нибудь божественное!

Слезы выступили у него на глазах.

— Братцы! — повторил он, прижимая руку к сердцу. — Давайте споем что-нибудь божественное!

— Я не умею, — сказал Константин.

Все отказались; тогда Емельян запел сам. Он замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот, но из горла его вырвалось одно только сиплое, беззвучное дыхание. Он пел руками, головой, глазами и даже шишкой, пел страстно и с болью, и чем сильнее напрягал грудь, чтобы вырвать из нее хоть одну ноту, тем беззвучнее становилось его дыхание…

Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука. Он пошел к своему возу, взобрался на тюк и лег. Глядел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? К чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине,

наверное, хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить; он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно. Он вспомнил ее брови, зрачки, коляску, часы со всадником… Тихая, теплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему казалось, что это та красивая женщина склоняется к нему, с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать…

От костра осталось только два маленьких красных глаза, становившихся всё меньше и меньше. Подводчики и Константин сидели около них, темные, неподвижные, и казалось, что их теперь было гораздо больше, чем раньше. Оба креста одинаково были видны, и далеко-далеко, где-то на большой дороге, светился красный огонек — тоже, вероятно, кто-нибудь варил кашу.

«Наша матушка Расия всему свету га-ла-ва!»[19] — запел вдруг диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и, казалось, по степи на тяжелых коле-

---

[19] Примечания: 19

«Наша матушка Расия всему свету га-ла-ва!» — солдатская песня.

сах покатила сама глупость.

— Время ехать! — сказал Пантелей. — Вставай, ребята.

Пока запрягали, Константин ходил около подвод и восхищался своей женой.

— Прощайте, братцы! — крикнул он, когда обоз тронулся. — Спасибо вам за хлеб за соль! А я опять пойду на огонь. Нет моей мочи!

И он скоро исчез во мгле, и долго было слышно, как он шагал туда, где светился огонек, чтобы поведать чужим людям о своем счастье.

Когда на другой день проснулся Егорушка, было раннее утро: солнце еще не всходило. Обоз стоял. Какой-то человек в белой фуражке и в костюме из дешевой серой материи, сидя на казачьем жеребчике, у самого переднего воза, разговаривал о чем-то с Дымовым и Кирюхой. Впереди, версты за две от обоза, белели длинные, невысокие амбары и домики с черепичными крышами; около домиков не было видно ни дворов, ни деревьев.

— Дед, какая это деревня? — спросил Егорушка.

— Это, молодчик, армянские хутора, — отвечал Пантелей. — Тут армяшки живут. Народ ничего… армяшки-то.

Человек в сером кончил разговаривать с Ды-

мовым и Кирюхой, осадил своего жеребчика и поглядел на хутора.

— Экие дела, подумаешь! — вздохнул Пантелей, тоже глядя на хутора и пожимаясь от утренней свежести. — Послал он человека на хутор за какой-то бумагой, а тот не едет… Степку послать бы!

— Дед, а кто это? — спросил Егорушка.

— Варламов.

Боже мой! Егорушка быстро вскочил, стал на колени и поглядел на белую фуражку. В малорослом сером человечке, обутом в большие сапоги, сидящем на некрасивой лошаденке и разговаривающем с мужиками в такое время, когда все порядочные люди спят, трудно было узнать таинственного, неуловимого Варламова, которого все ищут, который всегда «кружится» и имеет денег гораздо больше, чем графиня Драницкая.

— Ничего, хороший человек… — говорил Пантелей, глядя на хутора. — Дай Бог здоровья, славный господин… Варламов-то, Семен Александрыч… На таких людях, брат, земля держится. Это верно… Петухи еще не поют, а он уж на ногах… Другой бы спал или дома с гостями тары-бары-растабары, а он целый день по степу… Кружится… Этот уж не упустит дела… Не-ет! Это молодчина…

Варламов не отрывал глаз от хутора и о чем-то говорил; жеребчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

— Семен Александрыч, — крикнул Пантелей, снимая шляпу, — дозвольте Степку послать! Емельян, крикни, чтоб Степку послать!

Но вот, наконец, от хутора отделился верховой. Сильно накренившись набок и помахивая выше головы нагайкой, точно джигитуя и желая удивить всех своей смелой ездой, он с быстротою птицы полетел к обозу.

— Это, должно, его объездчик, — сказал Пантелей. — У него их, объездчиков-то, человек, может, сто, а то и больше.

Поравнявшись с передним возом, верховой осадил лошадь и, снявши шапку, подал Варламову какую-то книжку. Варламов вынул из книжки несколько бумажек, прочел их и крикнул:

— А где же записка Иванчука?

Верховой взял назад книжку, оглядел бумажки и пожал плечами; он стал говорить о чем-то, вероятно, оправдывался и просил позволения съездить еще раз на хутора. Жеребчик вдруг задвигался так, как будто Варламов стал тяжелее. Варламов тоже задвигался.

— Пошел вон! — крикнул он сердито и замах-

нулся на верхового нагайкой.

Потом он повернул лошадь назад и, рассматривая в книжке бумаги, поехал шагом вдоль обоза. Когда он подъезжал к заднему возу, Егорушка напряг свое зрение, чтобы получше рассмотреть его. Варламов был уже стар. Лицо его с небольшой седой бородкой, простое, русское, загорелое лицо, было красно, мокро от росы и покрыто синими жилочками; оно выражало такую же деловую сухость, как лицо Ивана Иваныча, тот же деловой фанатизм. Но все-таки какая разница чувствовалась между ним и Иваном Иванычем! У дяди Кузьмичова рядом с деловою сухостью всегда были на лице забота и страх, что он не найдет Варламова, опоздает, пропустит хорошую цену; ничего подобного, свойственного людям маленьким и зависимым, не было заметно ни на лице, ни в фигуре Варламова. Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел; как ни заурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью.

Проезжая мимо Егорушки, он не взглянул на него; один только жеребчик удостоил Егорушку своим вниманием и поглядел на него большими,

глупыми глазами, да и то равнодушно. Пантелей поклонился Варламову; тот заметил это и, не отрывая глаз от бумажек, сказал картавя:

— Здгаствуй, стагик!

Беседа Варламова с верховым и взмах нагайкой, по-видимому, произвели на весь обоз удручающее впечатление. У всех были серьезные лица. Верховой, обескураженный гневом сильного человека, без шапки, опустив поводья, стоял у переднего воза, молчал и как будто не верил, что для него так худо начался день.

— Крутой старик… — бормотал Пантелей. — Беда, какой крутой! А ничего, хороший человек… Не обидит задаром… Ничего…

Осмотрев бумаги, Варламов сунул книжку в карман; жеребчик, точно поняв его мысли, не дожидаясь приказа, вздрогнул и понесся по большой дороге.

VII

И в следующую затем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было душно; все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная; звезды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась.

У костра уж не было вчерашнего оживления и разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги и то и дело заводил речь о наглой смерти.

Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку; выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное… Вася жаловался, что у него ломит челюсть, и пророчил непогоду; Емельян не махал руками, а сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, а от дневного зноя у него болела голова.

Когда сварилась каша, Дымов от скуки стал придираться к товарищам.

— Расселся, шишка, и первый лезет с ложкой! — сказал он, глядя со злобой на Емельяна. — Жадность! Так и норовит первый за котел сесть. Певчим был, так уж он думает — барин! Много вас таких певчих по большому шляху милостыню просит!

— Да ты что пристал? — спросил Емельян, глядя на него тоже со злобой.

— А то, что не суйся первый к котлу. Не понимай о себе много!

— Дурак, вот и всё, — просипел Емельян.

Зная по опыту, чем чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Вася вмешались и стали убеждать Дымова не браниться попусту.

— Певчий… — не унимался озорник, презрительно усмехаясь. — Этак всякий может петь. Сиди себе в церкви на паперти да и пой: «Подайте милостыньки Христа ради!» Эх, вы!

Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего и сказал:

— Не хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать!

— Да что ты ко мне пристал, мазепа? — вспыхнул Емельян. — Я тебя трогаю?

— Как ты меня обозвал? — спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью. — Как? Я мазепа? Да? Так вот же тебе! Ступай ищи!

Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону. Кирюха, Вася и Степка вскочили и побежали искать ее, а Емельян умоляюще и вопросительно уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий заплакал, как ребенок.

Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо жег лицо; ему захотелось скорее бежать к обозу в потемки, но злые, скучающие глаза озорника тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову и проговорил, задыхаясь:

— Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!

После этого надо было бы бежать к обозу, а он никак не мог сдвинуться с места и продолжал:

— На том свете ты будешь гореть в аду! Я Ивану Иванычу пожалуюсь! Ты не смеешь обижать Емельяна!

— Тоже, скажи пожалуйста! — усмехнулся Дымов. — Свиненок всякий, еще на губах молоко не

обсохло, в указчики лезет. А ежели за ухо?

Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем; он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно:

— Бейте его! Бейте его!

Слезы брызнули у него из глаз; ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвел его крик, он не видел. Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами, и шептал:

— Мама! Мама!

И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, — всё теперь представлялось ему нелюдимым и страшным. Он ужасался и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем попал он в неизвестную землю, в компанию страшных мужиков? Где теперь дядя, о. Христофор и Дениска? Отчего они так долго не едут? Не забыли ли они о нем? От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно и так жутко, что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опрометью, без оглядки побежать назад по дороге, но воспоминание о темных, угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на

пути, и сверкавшая вдали молния останавливали его… И только когда он шептал: «мама! мама!», ему становилось как будто легче…

Должно быть, и подводчикам было жутко. После того, как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом вполголоса и глухо заговорили о чем-то, что оно идет и что поскорее нужно собираться и уходить от него… Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье.

Перед тем, как трогаться в путь, Дымов подошел к Пантелею и спросил тихо:

— Как его звать?

— Егорий… — ответил Пантелей.

Дымов стал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся.

Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы.

— Ера! — сказал он тихо. — На, бей!

Егорушка с удивлением посмотрел на него; в это время сверкнула молния.

— Ничего, бей! — повторил Дымов.

И, не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он спрыгнул вниз и сказал:

— Скушно мне!

Потом, переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза и не то плачущим, не то досадующим голосом повторил:

— Скушно мне! Господи! А ты не обижайся, Емеля, — сказал он, проходя мимо Емельяна. — Жизнь наша пропащая, лютая!

Направо сверкнула молния и, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали.

— Егорий, возьми! — крикнул Пантелей, подавая снизу что-то большое и темное.

— Что это? — спросил Егорушка.

— Рогожка! Будет дождик, так вот покроешься.

Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее, точно от тяжести, склонялась вправо.

— Дед, гроза будет? — спросил Егорушка.

— Ах, ножки мои больные, стуженые! — говорил нараспев Пантелей, не слыша его и притопывая ногами.

Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно,

по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо.

— А он обложной! — крикнул Кирюха.

Между далью и правым горизонтом мигнула молния и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на ее краю висели большие, черные лохмотья; точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто.

— Скушно мне! — донесся с передних возов крик Дымова, и по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться. — Скушно!

Вдруг рванул ветер и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу; встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с черной тучи, неся с собой облака

пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо; вероятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и как, должно быть, им было страшно! Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний.

Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, стал на колени и укрылся рогожей.

— Пантелле-ей! — крикнул кто-то впереди. — А… а…ва!

— Не слыха-ать! — ответил громко и нараспев Пантелей.

— А…а…ва! Аря…а!

Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод.

— Свят, свят, свят, Господь Саваоф, — прошептал Егорушка, крестясь, — исполнь небо и земля славы Твоея…

Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем; тотчас же опять загремел гром; едва

он умолк, как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмотья слева уже поднимались кверху и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимания и ждать, когда всё кончится.

Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка, в надежде, что туча, быть может, уходит мимо, выглянул из рогожи. Было страшно темно. Егорушка не увидел ни Пантелея, ни тюка, ни себя; покосился он туда, где была недавно луна, но там чернела такая же тьма, как и на возу. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно.

— Пантелей! — позвал Егорушка.

Ответа не последовало. Но вот, наконец, ветер в последней раз рванул рогожу и убежал куда-то. Послышался ровный, спокойный шум. Большая холодная капля упала на колено Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел было поправить рогожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тюку. Это был

дождь. Он и рогожа, как будто поняли друга, заговорили о чем-то быстро, весело и препротивно, как две сороки.

Егорушка стоял на коленях или, вернее, сидел на сапогах. Когда дождь застучал по рогоже, он подался туловищем вперед, чтобы заслонить собою колени, которые вдруг стали мокры; колени удалось прикрыть, но зато меньше чем через минуту резкая, неприятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины и на икрах. Он принял прежнюю позу, выставил колени под дождь и стал думать, что делать, как поправить в потемках невидимую рогожу. Но руки его были уже мокры, в рукава и за воротник текла вода, лопатки зябли. И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда всё кончится.

— Свят, свят, свят… — шептал он.

Вдруг над самой головой его с страшным, оглушительным треском разломалось небо; он нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно открылись, и он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах и струйках, бежавших с рогожи, на тюке и внизу на земле вспыхнул и раз пять мигнул ослепительно едкий свет. Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный.

Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева, звуки.

«Тррах! тах, тах! тах!» — явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних возов или далеко сзади сваливался со злобным, отрывистым — «трра!..»

Раньше молнии были только страшны, при таком же громе они представлялись зловещими. Их колдовской свет проникал сквозь закрытые веки и холодом разливался по всему телу. Что сделать, чтобы не видеть их? Егорушка решил обернуться лицом назад. Осторожно, как будто бы боясь, что за ним наблюдают, он стал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назад.

«Трах! тах! тах!» — понеслось над его головой, упало под воз и разорвалось — «Ррра!»

Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидел новую опасность: за возом шли три громадных великана с длинными пиками. Молния блеснула на остриях их пик и очень явственно осветила их фигуры. То были люди громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелою поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными в разду-

мье. Быть может, шли они за обозом не для того, чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное.

Егорушка быстро обернулся вперед и, дрожа всем телом, закричал:

— Пантелей! Дед!

«Трах! тах! тах!» — ответило ему небо.

Он открыл глаза, чтобы поглядеть, тут ли подводчики. Молния сверкнула в двух местах и осветила дорогу до самой дали, весь обоз и всех подводчиков. По дороге текли ручейки и прыгали пузыри. Пантелей шагал около воза, его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой рогожей; фигура не выражала ни страха, ни беспокойства, как будто он оглох от грома и ослеп от молнии.

— Дед, великаны! — крикнул ему Егорушка, плача.

Но дед не слышал. Далее шел Емельян. Этот был покрыт большой рогожей с головы до ног и имел теперь форму треугольника. Вася, ничем не покрытый, шагал так же деревянно, как всегда, высоко поднимая ноги и не сгибая колен. При блеске молнии казалось, что обоз не двигался и подводчики застыли, что у Васи онемела поднятая нога…

Егорушка еще позвал деда. Не добившись ответа, он сел неподвижно и уж не ждал, когда всё кончится. Он был уверен, что сию минуту его убьет гром, что глаза нечаянно откроются и он увидит страшных великанов. И он уж не крестился, не звал деда, не думал о матери и только коченел от холода и уверенности, что гроза никогда не кончится.

Но вдруг послышались голоса.

— Егорий, да ты спишь, что ли? — крикнул внизу Пантелей. — Слезай! Оглох, дурачок!..

— Вот так гроза! — сказал какой-то незнакомый бас и крякнул так, как будто выпил хороший стакан водки.

Егорушка открыл глаза. Внизу около воза стояли Пантелей, треугольник-Емельян и великаны. Последние были теперь много ниже ростом и, когда вгляделся в них Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечах не пики, а железные вилы. В промежутке между Пантелеем и треугольником светилось окно невысокой избы. Значит, обоз стоял в деревне. Егорушка сбросил с себя рогожу, взял узелок и поспешил с воза. Теперь, когда вблизи говорили люди и светилось окно, ему уж не было страшно, хотя гром трещал по-прежнему и молния поло-

совала всё небо.

— Гроза хорошая, ничего… — бормотал Пантелей. — Слава Богу… Ножки маленько промякли от дождичка, оно и ничего… Слез, Егорий? Ну, иди в избу… Ничего…

— Свят, свят, свят… — просипел Емельян. — Беспременно где-нибудь ударило… Вы тутошние? — спросил он великанов.

— Не, из Глинова… Мы глиновские. У господ Платеров работаем.

— Молотите, что ли?

— Разное. Покеда еще пшеницу убираем. А молонья-то, молонья! Давно такой грозы не было…

Егорушка вошел в избу. Его встретила тощая, горбатая старуха, с острым подбородком. Она держала в руках сальную свечку, щурилась и протяжно вздыхала.

— Грозу-то какую Бог послал! — говорила она. — А наши в степу ночуют, то-то натерпятся сердешные! Раздевайся, батюшка, раздевайся…

Дрожа от холода и брезгливо пожимаясь, Егорушка стащил с себя промокшее пальто, потом широко расставил руки и ноги и долго не двигался. Каждое малейшее движение вызывало в нем неприятное ощущение мокроты и холода. Рукава и спина на рубахе были мокры, брюки

прилипли к ногам, с головы текло…

— Что ж, хлопчик, раскорякой-то стоять? — сказала старуха. — Иди, садись!

Расставя широко ноги, Егорушка подошел к столу и сел на скамью около чьей-то головы. Голова задвигалась, пустила носом струю воздуха, пожевала и успокоилась. От головы вдоль скамьи тянулся бугор, покрытый овчинным тулупом. Это спала какая-то баба.

Старуха, вздыхая, вышла и скоро вернулась с арбузом и дыней.

— Кушай, батюшка! Больше угощать нечем… — сказала она, зевая, затем порылась в столе и достала оттуда длинный, острый ножик, очень похожий на те ножи, какими на постоялых дворах разбойники режут купцов. — Кушай, батюшка!

Егорушка, дрожа как в лихорадке, съел ломоть дыни с черным хлебом, потом ломоть арбуза, и от этого ему стало еще холодней.

— Наши в степу ночуют… — вздыхала старуха, пока он ел. — Страсти Господни… Свечечку бы перед образом засветить, да не знаю, куда Степанида девала. Кушай, батюшка, кушай…

Старуха зевнула и, закинув назад правую руку, почесала ею левое плечо.

— Должно, часа два теперь, — сказала она. — Скоро и вставать пора. Наши-то в степу ночуют… Небось, вымокли все…

— Бабушка, — сказал Егорушка, — я спать хочу.

— Ложись, батюшка, ложись… — вздохнула старуха, зевая. — Господи Иисусе Христе! Сама и сплю, и слышу, как будто кто стучит. Проснулась, гляжу, а это грозу Бог послал… Свечечку бы засветить, да не нашла.

Разговаривая с собой, она сдернула со скамьи какое-то тряпье, вероятно, свою постель, сняла с гвоздя около печи два тулупа и стала постилать для Егорушки.

— Гроза-то не унимается, — бормотала она. — Как бы, неровен час, чего не спалило. Наши-то в степу ночуют… Ложись, батюшка, спи… Христос с тобой, внучек… Дыню-то я убирать не стану, может, вставши, покушаешь.

Вздохи и зеванье старухи, мерное дыхание спавшей бабы, сумерки избы и шум дождя за окном располагали ко сну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лег и укрылся овчинным тулупом.

— Парнишка лег? — послышался через минуту шёпот Пантелея.

— Лег! — ответила шёпотом старуха. — Страсти-то, страсти Господни! Гремит, гремит, и конца не слыхать…

— Сейчас пройдет… — прошипел Пантелей, садясь. — Потише стало… Ребята пошли по избам, а двое при лошадях остались… Ребята-то… Нельзя… Уведут лошадей… Вот посижу маленько и пойду на смену… Нельзя, уведут…

Пантелей и старуха сидели рядом у ног Егорушки и говорили шипящим шёпотом, прерывая свою речь вздохами и зевками. А Егорушка никак не мог согреться. На нем лежал теплый, тяжелый тулуп, но всё тело тряслось, руки и ноги сводило судорогами, внутренности дрожали… Он разделся под тулупом, но и это не помогло. Озноб становился всё сильней и сильней.

Пантелей ушел на смену и потом опять вернулся, а Егорушка всё еще не спал и дрожал всем телом. Что-то давило ему голову и грудь, угнетало его, и он не знал, что это: шёпот ли стариков или тяжелый запах овчины? От съеденных арбуза и дыни во рту был неприятный, металлический вкус. К тому же еще кусались блохи.

— Дед, мне холодно! — сказал он и не узнал своего голоса.

— Спи, внучек, спи… — вздохнула старуха.

Тит на тонких ножках подошел к постели и замахал руками, потом вырос до потолка и обратился в мельницу. О. Христофор, не такой, каким он сидел в бричке, а в полном облачении и с кропилом в руке, прошелся вокруг мельницы, покропил ее святой водой и она перестала махать. Егорушка, зная, что это бред, открыл глаза.

— Дед! — позвал он. — Дай воды!

Никто не отозвался. Егорушке стало невыносимо душно и неудобно лежать. Он встал, оделся и вышел из избы. Уже наступило утро. Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Дрожа и кутаясь в мокрое пальто, Егорушка прошелся по грязному двору, прислушался к тишине; на глаза ему попался маленький хлевок с камышовой, наполовину открытой дверкой. Он заглянул в этот хлевок, вошел в него и сел в темном углу на кизяк.

В его тяжелой голове путались мысли, во рту было сухо и противно от металлического вкуса. Он оглядел свою шляпу, поправил на ней павлинье перо и вспомнил, как ходил с мамашей покупать эту шляпу. Сунул он руку в карман и достал оттуда комок бурой, липкой замазки. Как эта замазка попала ему в карман? Он подумал, понюхал: пахнет медом. Ага, это еврейский пря-

ник! Как он, бедный, размок!

Егорушка оглядел свое пальто. А пальто у него было серенькое, с большими костяными пуговицами, сшитое на манер сюртука. Как новая и дорогая вещь, дома висело оно не в передней, а в спальной, рядом с мамашиными платьями; надевать его позволялось только по праздникам. Поглядев на него, Егорушка почувствовал к нему жалость, вспомнил, что он и пальто — оба брошены на произвол судьбы, что им уж больше не вернуться домой, и зарыдал так, что едва не свалился с кизяка.

Большая белая собака, смоченная дождем, с клочьями шерсти на морде, похожими на папильотки, вошла в хлев и с любопытством уставилась на Егорушку. Она, по-видимому, думала: залаять или нет? Решив, что лаять не нужно, она осторожно подошла к Егорушке, съела замазку и вышла.

— Это варламовские! — крикнул кто-то на улице.

Наплакавшись, Егорушка вышел из хлева и, обходя лужу, поплелся на улицу. Как раз перед воротами на дороге стояли возы. Мокрые подводчики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на

оглоблях. Егорушка поглядел на них и подумал: «Как скучно и неудобно быть мужиком!» Он подошел к Пантелею и сел с ним рядом на оглоблю.

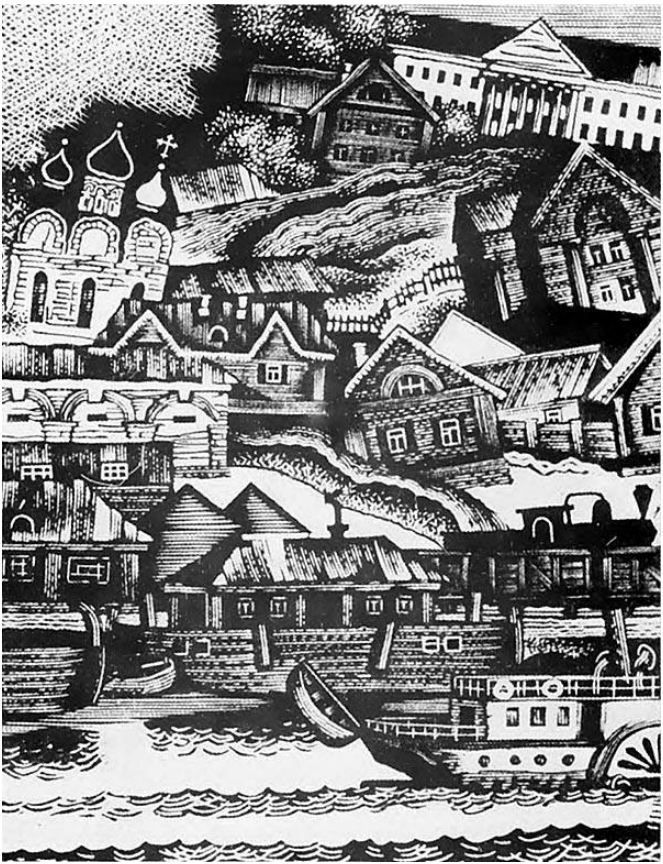
— Дед, мне холодно! — сказал он, дрожа и засовывая руки в рукава.

— Ничего, скоро до места доедем, — зевнул Пантелей. — Оно ничего, согреешься.

Обоз тронулся с места рано, потому что было не жарко. Егорушка лежал на тюке и дрожал от холода, хотя солнце скоро показалось на небе и высушило его одежду, тюк и землю. Едва он закрыл глаза, как опять увидел Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всем теле, он напрягал силы, чтобы отогнать от себя эти образы, но едва они исчезали, как на Егорушку с ревом бросался озорник Дымов с красными глазами и с поднятыми кулаками или же слышалось, как он тосковал: «Скушно мне!» Проезжал на казачьем жеребчике Варламов, проходил со своей улыбкой и с дрохвой счастливый Константин. И как все эти люди были тяжелы, несносны и надоедливы!

Раз — это было уже перед вечером — он поднял голову, чтобы попросить пить. Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире баржу.

Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквами; у подножия горы около товарных вагонов бегал локомотив…



«Обоз стоял на большом мосту… Внизу… виден был пароход… Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквами; у подножия горы около товарных вагонов бегал локомотив…» (гл. VII).

Гравюра В. М. Конашевича. ИРЛИ. С.-Петербург.

Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни локомотивов, ни широких рек. Взглянув теперь на них, он не испугался, не удивился; на лице его не выразилось даже ничего похожего на любопытство. Он только почувствовал дурноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило. Пантелей, видевший это, крякнул и покрутил головой.

— Захворал наш парнишка! — сказал он. — Должно, живот застудил… парнишка-то… На чужой стороне… Плохо дело!

VIII

Обоз остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему слезать и говорил:

— А мы еще вчера вечером приехали… Целый день нынче вас ждали. Хотели вчерась нагнать вас, да не рука была, другой дорогой поехали. Эка, как ты свою пальтишку измял! Достанется тебе от дяденьки!

Егорушка вгляделся в мраморное лицо говорившего и вспомнил, что это Дениска.

— Дяденька и о. Христофор теперь в номере, — продолжал Дениска, — чай пьют. Пойдем!

И он повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на N-ское богоугодное заведение. Пройдя сени, темную лестницу и длинный, узкий коридор, Егорушка и Дениска вошли в маленький номерок, в котором, действительно, за чайным столом сидели Иван Иваныч и о. Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость.

— А-а, Егор Никола-аич! — пропел о. Христофор. — Господин Ломоносов!

— А, господа дворяне! — сказал Кузьмичов. — Милости просим.

Егорушка снял пальто, поцеловал руку дяде и о. Христофору и сел за стол.

— Ну, как доехал, puer bone?[20] — засыпал его о. Христофор вопросами, наливая ему чаю и, по обыкновению, лучезарно улыбаясь. — Небось надоело? И не дай Бог на обозе или на волах ехать! Едешь, едешь, прости Господи, взглянешь вперед, а степь всё такая ж протяженно-сложенная, как и была: конца краю не видать! Не езда, а чистое поношение. Что ж ты чаю не пьешь? Пей! А мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился, все дела под орех разделали. Славу Богу! Продали шерсть Черепахину и так, как дай Бог всякому… Хорошо попользовались.

При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться. Он не слушал о. Христофора и придумывал, с чего бы начать и на что особенно пожаловаться. Но голос о. Христофора, казавшийся неприятным и резким, мешал ему сосредоточиться и путал его мысли. Не посидев и пяти минут, он встал из-за стола, пошел к дивану и лег.

---

[20] Примечания: 20
добрый мальчик? (лат.).

— Вот-те на! — удивился о. Христофор. — А как же чай?

Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал лбом к стене дивана и вдруг зарыдал.

— Вот-те на! — повторил о. Христофор, поднимаясь и идя к дивану. — Георгий, что с тобой? Что ты плачешь?

— Я… я болен! — проговорил Егорушка.

— Болен? — смутился о. Христофор. — Вот это уж и нехорошо, брат… Разве можно в дороге болеть? Ай, ай, какой ты, брат… а?

Он приложил руку к Егорушкиной голове, потрогал щеку и сказал:

— Да, голова горячая… Это ты, должно быть, простудился или чего-нибудь покушал… Ты Бога призывай.

— Хинины ему дать… — сказал смущенно Иван Иваныч.

— Нет, ему бы чего-нибудь горяченького покушать… Георгий, хочешь супчику? А?

— Не… не хочу… — ответил Егорушка.

— Тебя знобит, что ли?

— Прежде знобило, а теперь… теперь жар. У меня всё тело болит…

Иван Иваныч подошел к дивану, потрогал

Егорушку за голову, смущенно крякнул и вернулся к столу.

— Вот что, ты раздевайся и ложись спать, — сказал о. Христофор, — тебе выспаться надо.

Он помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл его одеялом, а поверх одеяла пальтом Ивана Иваныча, затем отошел на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза и ему тотчас же стало казаться, что он не в номере, а на большой дороге около костра; Емельян махнул рукой, а Дымов с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку.

— Бейте его! Бейте его! — крикнул Егорушка.

— Бредит… — проговорил вполголоса о. Христофор.

— Хлопоты! — вздохнул Иван Иваныч.

— Надо будет его маслом с уксусом смазать. Бог даст, к завтраму выздоровеет.

Чтобы отвязаться от тяжелых грез, Егорушка открыл глаза и стал смотреть на огонь. О. Христофор и Иван Иваныч уже напились чаю и о чем-то говорили шёпотом. Первый счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, что взял хорошую пользу на шерсти; веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберет всю свою большую семью,

лукаво подмигнет и расхохочется; сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть дешевле своей цены, потом же подаст зятю Михайле толстый бумажник и скажет: «На, получай! Вот как надо дела делать!» Кузьмичов же не казался довольным. Лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и заботу.

— Эх, кабы знатье, что Черепахин даст такую цену, — говорил он вполголоса, — то я б дома не продавал Макарову тех трехсот пудов! Такая досада! Но кто ж его знал, что тут цену подняли?

Человек в белой рубахе убрал самовар и зажег в углу перед образом лампадку. О. Христофор шепнул ему что-то на ухо; тот сделал таинственное лицо, как заговорщик — понимаю, мол, — вышел и, вернувшись немного погодя, поставил под диван посудину. Иван Иваныч постлал себе на полу, несколько раз зевнул, лениво помолился и лег.

— А завтра я в собор думаю… — сказал о. Христофор. — Там у меня ключарь знакомый. К преосвященному бы надо после обедни, да, говорят, болен.

Он зевнул и потушил лампу. Теперь уж светила одна только лампадка.

— Говорят, не принимает, — продолжал о. Христофор, разоблачаясь. — Так и уеду, не пови-

давшись.

Он снял кафтан, и Егорушка увидел перед собой Робинзона Крузе. Робинзон что-то размешал в блюдечке, подошел к Егорушке и зашептал:

— Ломоносов, ты спишь? Встань-ка! Я тебя маслом с уксусом смажу. Оно хорошо, ты только Бога призывай.

Егорушка быстро поднялся и сел. О. Христофор снял с него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, как будто ему самому было щекотно, стал растирать Егорушке грудь.

— Во имя Отца и Сына и Святаго духа… — шептал он. — Ложись спиной кверху!.. Вот так. Завтра здоров будешь, только вперед не согрешай… Как огонь, горячий! Небось в грозу в дороге были?

— В дороге.

— Еще бы не захворать! Во имя Отца и Сына и Святаго духа… Еще бы не захворать!

Смазавши Егорушку, о. Христофор надел на него сорочку, укрыл, перекрестил и отошел. Потом Егорушка видел, как он молился Богу. Вероятно, старик знал наизусть очень много молитв, потому что долго стоял перед образом и шептал. Помолившись, он перекрестил окна, дверь, Егорушку, Ивана Иваныча, лег без подушки на диванчик и укрылся своим кафтаном. В коридоре

часы пробили десять. Егорушка вспомнил, что еще много времени осталось до утра, в тоске припал лбом к спинке дивана и уж не старался отделаться от туманных угнетающих грез. Но утро наступило гораздо раньше, чем он думал.

Ему казалось, что он недолго лежал, припавши лбом к спинке дивана, но когда он открыл глаза, из обоих окон номерка уже тянулись к полу косые солнечные лучи. О. Христофора и Ивана Иваныча не было. В номерке было прибрано, светло, уютно и пахло о. Христофором, который всегда издавал запах кипариса и сухих васильков (дома он делал из васильков кропила и украшения для киотов, отчего и пропах ими насквозь). Егорушка поглядел на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана, и засмеялся. Ему казалось странным, что он не на тюке, что кругом всё сухо и на потолке нет молний и грома.

Он прыгнул с дивана и стал одеваться. Самочувствие у него было прекрасное; от вчерашней болезни осталась одна только небольшая слабость в ногах и в шее. Значит, масло и уксус помогли. Он вспомнил пароход, локомотив и широкую реку, которые смутно видел вчера, и теперь спешил поскорее одеться, чтобы побе-

жать на пристань и поглядеть на них. Когда он, умывшись, надевал кумачовую рубаху, вдруг щелкнул в дверях замок и на пороге показался о. Христофор в своем цилиндре, с посохом и в шелковой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя (старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние), он положил на стол просфору и какой-то сверток, помолился и сказал:

— Бог милости прислал! Ну, как здоровье?

— Теперь хорошо, — ответил Егорушка, целуя ему руку.

— Слава Богу… А я из обедни… Ходил с знакомым ключарем повидаться. Звал он меня к себе чай пить, да я не пошел. Не люблю по гостям ходить спозаранку. Бог с ними!

Он снял рясу, погладил себя по груди и не спеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек балыка и французский хлеб.

— Вот, шел мимо живорыбной лавки и купил, — сказал о. Христофор. — В будень не из чего бы роскошествовать, да, подумал, дома болящий, так оно как будто и простительно. А икра хорошая, осетровая…

Человек в белой рубахе принес самовар и под-

нос с посудой.

— Кушай, — сказал о. Христофор, намазывая икру на ломтик хлеба и подавая Егорушке. — Теперь кушай и гуляй, а настанет время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть, а где нужно рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь наружного, там своими словами. И старайся так, чтоб все науки выучить. Иной математику знает отлично, а про Петра Могилу не слыхал, а иной про Петра Могилу знает, а не может про луну объяснить. Нет, ты так учись, чтобы всё понимать! Выучись по-латынски, по-французски, по-немецки… географию, конечно, историю, богословие, философию, математику… а когда всему выучишься, не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда всё будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учись да благодати набирайся, а уж Бог укажет, кем тебе быть. Доктором ли, судьей ли, инженером ли…

О. Христофор намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры, положил его в рот и сказал:

— Апостол Павел говорит: на учения странна

и различна не прилагайтеся.[21] Конечно, если чернокнижие, буесловие, или духов с того света вызывать, как Саул,[22] или такие науки учить, что от них пользы ни себе, ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что Бог благословил. Ты соображайся… Святые апостолы говорили на всех языках — и ты учи языки; Василий Великий[23] учил математику и философию — и ты учи; святый Нестор[24] писал историю — и ты учи и пиши историю. Со святыми соображайся…

О. Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой.

— Хорошо! — сказал он. — Я по-старинному обучен, многое уж забыл, да и то живу иначе, чем прочие. И сравнивать даже нельзя. Например,

---

[21] Примечания: 21

…Апостол Павел… не прилагайтеся… — Имеется в виду Послание к евреям (Евр., 13, 9): «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Текст дословно совпадает с высказываниями митрополита Платона, автора «Краткой церковной Российской истории» (М., 1805. Т. 1. С. X), прочитанной Чеховым в период работы над «Врачебным делом в России». См.: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения. Т. 16. М., 1979. С. 354.

[22] Примечания: 22

…духов с того света вызывать, как Саул… — Из библейской легенды о царе Сауле: дух отца Самуила предсказал Саулу конец его царствования (1-я книга царств, 28).

[23] Примечания: 23

Василий Великий (ок. 330–379), христианский церковный деятель.

[24] Примечания: 24

Нестор (годы рождения и смерти неизвестны), монах Киево-Печерского монастыря с 70-х годов XI в., автор «Чтения о житии… Бориса и Глеба» и «Жития… Феодосия». Считают, что Нестор был одним из составителей «Повести временных лет»

где-нибудь в большом обществе, за обедом ли, или в собрании скажешь что-нибудь по-латынски, или из истории, или философии, а людям и приятно, да и мне самому приятно… Или вот тоже, когда приезжает окружной суд и нужно приводить к присяге; все прочие священники стесняются, а я с судьями, с прокурорами да с адвокатами запанибрата: по-ученому поговорю, чайку с ними попью, посмеюсь, расспрошу, чего не знаю… И им приятно. Так-то вот, брат… Ученье свет, а неученье тьма. Учись! Оно, конечно, тяжело: в теперешнее время ученье дорого обходится… Маменька твоя вдовица, пенсией живет, ну да ведь…

О. Христофор испуганно поглядел на дверь и продолжал шёпотом:

— Иван Иваныч будет помогать. Он тебя не оставит. Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся.

Он сделал серьезное лицо и зашептал еще тише:

— Только ты смотри, Георгий, Боже тебя сохрани, не забывай матери и Ивана Иваныча. Почитать мать велит заповедь, а Иван Иваныч тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в ученые и, не дай Бог, станешь тяготиться

и пренебрегать людями по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе!

О. Христофор поднял вверх руку и повторил тонким голоском:

— Горе! Горе!

О. Христофор разговорился и, что называется, вошел во вкус; он не окончил бы до обеда, но отворилась дверь и вошел Иван Иваныч. Дядя торопливо поздоровался, сел за стол и стал быстро глотать чай.

— Ну, со всеми делами справился, — сказал он. — Сегодня бы и домой ехать, да вот с Егором еще забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то ее подружка живет, Настасья Петровна, так вот, может, она его к себе на квартиру возьмет.

Он порылся в своем бумажнике, достал оттуда измятое письмо и прочел:

— «Малая Нижняя улица, Настасье Петровне Тоскуновой, в собственном доме». Надо будет сейчас пойти поискать ее. Хлопоты!

Вскоре после чаю Иван Иваныч и Егорушка уж выходили из подворья.

— Хлопоты! — бормотал дядя. — Привязался ты ко мне, как репейник, и ну тебя совсем к Богу! Вам ученье да благородство, а мне одна мука с вами…

Когда они проходили двором, то возов и подводчиков уже не было, все они еще рано утром уехали на пристань. В дальнем углу двора темнела знакомая бричка; возле нее стояли гнедые и ели овес.

«Прощай, бричка!» — подумал Егорушка.

Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потом идти через большую базарную площадь; тут Иван Иваныч справился у городового, где Малая Нижняя улица.

— Эва! — усмехнулся городовой. — Она далече, туда к выгону!

На пути попадались навстречу извозчичьи пролетки, но такую слабость, как езда на извозчиках, дядя позволял себе только в исключительных случаях и по большим праздникам. Он и Егорушка долго шли по мощеным улицам, потом шли по улицам, где были одни только тротуары, а мостовых не было, и в конце концов попали на такие улицы, где не было ни мостовых, ни тротуаров. Когда ноги и язык довели их до Малой Нижней улицы, оба они были красны и, сняв шляпы, вытирали пот.

— Скажите, пожалуйста, — обратился Иван Иваныч к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке, — где тут дом Настасьи Петровны

Тоскуновой?

— Никакой тут Тоскуновой нет, — ответил старик, подумав. — Может, Тимошенко?

— Нет, Тоскунова…

— Извините, Тоскуновой нету…

Иван Иваныч пожал плечами и поплелся дальше.

— Да не ищите! — крикнул ему сзади старик. — Говорю — нету, значит нету!

— Послушай, тетенька, — обратился Иван Иваныч к старухе, продававшей на углу в лотке подсолнухи и груши, — где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?

Старуха поглядела на него с удивлением и засмеялась.

— Да нешто Настасья Петровна теперь в своем доме живет? — спросила она. — Господи, уж годов восемь, как она дочку выдала и дом свой зятю отказала! Там теперь зять живет.

А глаза ее говорили: «Как же вы, дураки, такого пустяка не знаете?»

— А где она теперь живет? — спросил Иван Иваныч.

— Господи! — удивилась старуха, всплескивая руками. — Она уж давно на квартире живет! Уж годов восемь, как свой дом зятю отказала.

Что вы!

Она, вероятно, ожидала, что Иван Иваныч тоже удивится и воскликнет: «Да не может быть!!», но тот очень покойно спросил:

— Где же ее квартира?

Торговка засучила рукава и, указывая голой рукой, стала кричать пронзительным тонким голосом:

— Идите всё прямо, прямо, прямо… Вот как пройдете красненький домичек, там на левой руке будет переулочек. Так вы идите в этот переулочек и глядите третьи ворота справа…

Иван Иваныч и Егорушка дошли до красного домика, повернули налево в переулок и направились к третьим воротам справа. По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями; правая часть забора сильно накренилась вперед и грозила падением, левая покосилась назад во двор, ворота же стояли прямо и, казалось, еще выбирали, куда им удобнее свалиться, вперед или назад. Иван Иваныч отворил калитку и вместе с Егорушкой увидел большой двор, поросший бурьяном и репейником. В ста шагах от ворот стоял небольшой домик с красной крышей и с зелеными ставнями. Какая-то полная женщина, с засученными

рукавами и с поднятым фартуком, стояла среди двора, сыпала что-то на землю и кричала так же пронзительно-тонко, как и торговка:

— Цып!.. цып! цып!

Сзади нее сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенором (все рыжие собаки лают тенором).

— Кого вам? — крикнула женщина, заслоняя рукой глаза от солнца.

— Здравствуйте! — тоже крикнул ей Иван Иваныч, отмахиваясь палкой от рыжей собаки. — Скажите, пожалуйста, здесь живет Настасья Петровна Тоскунова?

— Здесь! А на что вам?

Иван Иваныч и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядели их и повторила:

— На что она вам?

— Да, может, вы сами Настасья Петровна?

— Ну, я!

— Очень приятно… Видите ли, кланялась вам ваша давнишняя подружка, Ольга Ивановна Князева. Вот это ее сынок. А я, может, помните, ее родной брат, Иван Иваныч… Вы ведь наша N-ская… Вы у нас и родились, и замуж выходили…

Наступило молчание. Полная женщина уста-

вилась бессмысленно на Ивана Иваныча, как бы не веря или не понимая, потом вся вспыхнула и всплеснула руками; из фартука ее посыпался овес, из глаз брызнули слезы.

— Ольга Ивановна! — взвизгнула она, тяжело дыша от волнения. — Голубушка моя родная! Ах, батюшки, так что же я, как дура, стою? Ангельчик ты мой хорошенький…

Она обняла Егорушку, обмочила слезами его лицо и совсем заплакала.

— Господи! — сказала она, ломая руки. — Олечкин сыночек! Вот радость-то! Совсем мать! Чистая мать! Да что ж вы на дворе стоите? Пожайлуйте в комнаты!

Плача, задыхаясь и говоря на ходу, она поспешила к дому; гости поплелись за ней.

— У меня не прибрано! — говорила она, вводя гостей в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками. — Ах, Матерь Божия! Василиса, поди хоть ставни отвори! Ангельчик мой! Красота моя неописанная! Я и не знала, что у Олечки такой сыночек!

Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иваныч пригласил ее поговорить наедине. Егорушка вышел в другую комнатку; тут стояла швейная машина, на окне висела клетка со

скворцом и было так же много образов и цветов, как и в зале. Около машины неподвижно стояла какая-то девочка, загорелая, со щеками пухлыми, как у Тита, и в чистеньком ситцевом платьице. Она, не мигая, глядела на Егорушку и, по-видимому, чувствовала себя очень неловко. Егорушка поглядел на нее, помолчал и спросил:

— Как тебя звать?

Девочка пошевелила губами, сделала плачущее лицо и тихо ответила:

— Атька…

Это значило: Катька.

— Он у вас будет жить, — шептал в зале Иван Иваныч, — ежели вы будете такие добрые, а мы вам будем по десяти рублей в месяц платить. Он у нас мальчик не балованный, тихий…

— Уж не знаю, как вам и сказать, Иван Иваныч! — плаксиво вздыхала Настасья Петровна. — Десять рублей деньги хорошие, да ведь чужого-то ребенка брать страшно! Вдруг заболеет, или что…

Когда Егорушку опять позвали в зал, Иван Иваныч уже стоял со шляпой в руках и прощался.

— Что ж? Значит, пускай теперь и остается у вас, — говорил он. — Прощайте! Оставайся, Егор! — сказал он, обращаясь к племяннику. — Не

балуй тут, слушайся Настасью Петровну… Прощай! Я приду еще завтра.

И он ушел. Настасья Петровна еще раз обняла Егорушку, обозвала его ангельчиком и, заплаканная, стала собирать на стол. Через три минуты Егорушка уж сидел рядом с ней, отвечал на ее бесконечные расспросы и ел жирные горячие щи.

А вечером он сидел опять за тем же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью Петровну. Она, то смеясь, то плача, рассказывала ему про молодость его матери, про свое замужество, про своих детей… В печке кричал сверчок и едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила вполголоса и то и дело от волнения роняла наперсток, а Катя, ее внучка, лазала за ним под стол и каждый раз долго сидела под столом, вероятно, рассматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушал, дремал и рассматривал лицо старухи, ее бородавку с волосками, полоски от слез… И ему было грустно, очень грустно! Спать его положили на сундуке и предупредили, что если он ночью захочет покушать, то чтобы сам вышел в коридорчик и взял там на окне цыпленка, накрытого тарелкой.

На другой день утром приходили прощаться Иван Иваныч и о. Христофор. Настасья Петровна

обрадовалась и собралась было ставить самовар, но Иван Иваныч, очень спешивший, махнул рукой и сказал:

— Некогда нам с чаями да с сахарами! Мы сейчас уйдем.

Перед прощаньем все сели и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядела на образа.

— Ну, — начал Иван Иваныч, поднимаясь, — значит, ты остаешься…

С лица его вдруг исчезла деловая сухость, он немножко покраснел, грустно улыбнулся и сказал:

— Смотри же, учись… Не забывай матери и слушайся Настасью Петровну… Если будешь, Егор, хорошо учиться, то я тебя не оставлю.

Он вынул из кармана кошелек, повернулся к Егорушке спиной, долго рылся в мелкой монете и, найдя гривенник, дал его Егорушке. О. Христофор вздохнул и, не спеша, благословил Егорушку.

— Во имя Отца и Сына и Святаго духа… Учись, — сказал он. — Трудись, брат… Ежели помру, поминай. Вот прими и от меня гривенничек…

Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком.

— Я, Настасья Петровна, уж подал в гимназию прошение, — сказал Иван Иваныч таким голосом, как будто в зале был покойник. — Седьмого августа вы его на экзамен сведете… Ну, прощайте! Оставайтесь с Богом. Прощай, Егор!

— Да вы бы хоть чайку покушали! — простонала Настасья Петровна.

Сквозь слезы, застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и о. Христофор. Он бросился к окну, но во дворе их уже не было, и от ворот с выражением исполненного долга бежала назад только что лаявшая рыжая собака. Егорушка, сам не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнат. Когда он выбежал за ворота, Иван Иваныч и о. Христофор, помахивая — первый палкой с крючком, второй посохом, поворачивали уже за угол. Егорушка почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, всё то, что до сих пор было пережито; он опустился в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него…

Какова-то будет эта жизнь?

ДОПОЛНЕНИЯ
ИЗ ПИСЕМ СОВРЕМЕННИКОВ

20го Апр 6 часов утра

Буду из Звирева Ворож. д. по Донецкой дороге. Из Звирева придется ехать до 9го часа вечера и до 5 часов утра: весело!!!

Голая степь: курганчики, коршуны, жаворонки, синяя даль.

В четверг буду в Новочеркасске, а в воскресенье опять поеду по Донецкой дороге. Жаль, что нужно одному. Все очень красиво.

Из Москвы получил письмо только от Ивана; остальные господа издатели почему-то не пишут.

А. Чехонте

Чехонте

Письмо Л. П. Чехова к сестре М. П. Чеховой 20 апреля 1887 г.

Открытка. Автограф. РГБ. Москва

1.

А. Н. Плещеев — А. П. Чехову

8 февраля 1888 г.

Голубчик Антон Павлович. «Степь» отдана в набор — пойдет вся целиком. Завтра высылается аванс в 300 руб. (не мало ли? Тогда напишите). Прочитал я ее с жадностью. Не мог оторваться, начавши читать. Короленко тоже… Это такая прелесть, такая бездна поэзии, что я ничего другого сказать Вам не могу и никаких замечаний не могу сделать — кроме того, что я в безумном восторге. Это вещь захватывающая, и я предсказываю Вам большую, большую будущность. Что за бесподобные описания природы, что за рельефные, симпатичные фигуры… Этот

отец Христофор, Егорушка, все эти возчики: Пантелей, парень, влюбленный в жену, певчий… да и все решительно. Некоторые фигуры требуют действительно более широкого развития, т. е. я хочу сказать, что в них есть материал для этого и что жаль с ними расставаться… все хочется, чтоб они еще раз встретились в повести. Ведь, например, на озорнике Дымове можно я не знаю какую драму создать… Продолжайте Христа ради историю Егорушки. Я глубоко убежден, что вещь эту ожидает огромный успех. Пускай в ней нет того внешнего содержания — в смысле фабулы, которое так дорого толпе, но внутреннего содержания зато неисчерпаемый родник. Поэты, художники с поэтическим чутьем должны просто с ума сойти. И сколько разбросано тончайших психологических штрихов. Одним словом, я давно ничего не читал с таким огромным наслаждением. Сегодня в редакции мы только и толковали что о Вас… Редакция *вся* к Вам относится наилучшим образом и просит Вас без церемоний заявлять Ваше желание насчет

гонорара… Если эта цена кажется Вам недостаточной, просите прямо, что Вы желаете. Я уверен, что Вы в самом скором времени будете получать по 300 р. и что в будущем этим не ограничится <…>

2.

Н. К. Михайловский — А. П. Чехову

15 февраля 1888 г.

Антон Павлович,

Я сейчас дочитал корректуру Вашей «Степи», и хочется мне об ней сказать Вам несколько слов. Хотите обижайтесь, хотите сердитесь на это непрошеное письмо — мне все равно, потому что слишком я далек от мысли сделать Вам обиду. Читая «Степь», я все время думал, какой грех Вы совершали, разрываясь на клочки, и какой это будет уж совсем страшный, незамолимый грех, если Вы и теперь будете себя рвать. Читая, я точно видел силача, который идет по дороге, сам не зная куда и зачем, так, кости разминает, и, не сознавая своей огромной силы, про-

сто не думая об ней, то росточек сорвет, то дерево с корнем вырвет, все с одинаковою легкостью и даже разницы между этими действиями не чувствует. Много Вам от Бога дано, Антон Павлович, много и спросится. Сила — это само собой. Но сила бывает мрачная (Достоевский) и ясная (Толстой до своего повреждения). Ваша сила ясная, и в этой ясности ручательство, что злу она не послужит, не может послужить, за что бы Вы ни взялись, что бы ни задумали. Я был сначала поражен Вашей неиспорченностью, потому что не знал школы хуже той, которую Вы проходили в «Новом времени», «Осколках» и проч. Потом понял, что иначе и не могло быть, — эта грязь не могла к Вам пристать. Школа, однако, сделала что могла — приучила Вас к обрывочности и к прогулке по дороге незнамо куда и незнамо зачем. Это пройдет, должно пройти, Вы будете не только не служить злу, а прямо служить добру. Само собой это выйдет, и тогда берусь Вам предсказать блестящую будущность. Но примите хоть к сведению совет человека, поседевшего на литера-

туре, — не возвращайтесь ни на минуту на тот путь, с которого сошли, погибнете там. Не то чтобы Вы непременно писали большие вещи, пишите что хотите, пишите мелкие рассказы, но Вы не должны, не смеете быть дилетантом в литературе, Вы в нее должны душу положить.

Простите пожалуйста, поймите, из какого источника это письмо идет. И еще простите одну мелочь: я дополнил Вашу подпись — не *Ан.*, а *Антон* Чехов. Есть, говорят, другой Чехов, да и вообще это фамилия не редкая, а Вы — редкий. Прецедент — *Глеб Успенский.*

Ваш Ник. Михайловский

3.

И. Л. Леонтьев (Щеглов) — А. П. Чехову

4 марта 1888 г.

<…> Прочел Вашу «Степь» <…> Первое слово — удивительно, второе — изумительно, а третье… скажу на ухо по приезде. Особенно неизгладимо врезались мне в память: описание купанья и ловли

раков, влюбленный Константин и трогательная нота финала. Чудесно описание грозы, а описание степи на стр. 108[25] — шедевр описательной поэзии <…>.

Ради всех святых, дайте оттиск Вашей «Степи». Тому, кто не выезжал летом из Петербурга — чистое благодеяние подышать степным воздухом, веющим от каждой страницы Вашего очерка <…>

4.

П. Н. Островский — А. П. Чехову

4 марта 1888 г.

<…> За чтение «Степи» принялся я с большим любопытством; первый раз прочел я все за один присест, во второй раз медленнее, с новым удовольствием; затем принялся перечитывать и перечитывать, отмечать выдающиеся места, подбирать промахи и погрешности… вообще старался подвести итог и формулировать общее впечатление. Впечатление это оказалось довольно сложным: к испытанному

[25] Примечания: 25
В наст. изд. см. с. 55–56.

мною чувству живого удовольствия примешивалась также и некоторая досада. За удовольствие позвольте Вас поблагодарить, за досаду попенять, а также позвольте поделиться с Вами мыслями, которые забродили во мне по прочтении Вашей «Степи». Начну, чтобы поскорей с ним разделаться, с чувства досады.

Все время в продолжение чтения во мне шевелился и не давал покоя вопрос: зачем так мало искусства, мастерства на такое большое количество таланта? Зачем так мало отделки, распорядка в этой массе поэтического материала высшей пробы? Спешность и, извините, небрежность работы отзывается не только в частностях, в легко поправляемых пустячках (однообразная конструкция фраз, нечистота языка, кой-где неудачные эпитеты), но и сказывается отсутствием плана и дает себя чувствовать на общем впечатлении. Эта небрежность нагромоздила в рассказ материала больше, чем следует, заторопила ход рассказа и скомкала его конец. Автор не ведет читателя, не помогает ему отдыхать, сосредоточивать его внима-

ние на известных, выдающихся местах. Я уверен, что читатель обыкновенный, «не искусившийся на грамоте», не разберет в рассказе многое, пробежит мимо доброй половины того, что есть в нем хорошего. Конечно, растягивание, размазывание жидкого, скудного содержания на многое множество печатных листов гораздо хуже, и несомненно, что не договорить лучше, чем наговорить лишнее; но это все-таки недостаток! В рассказе нет внутренней организации, которая бы определяла всему надлежащее место и меру, — нет центра, к которому бы, располагаясь вокруг, тяготели второстепенные лица и мелкие подробности; жизнь степи и душевная история ребенка взаимно не покрываются, и то ребенок, то степь перетягивают к себе внимание читателя. Комментарии и впечатления автора, издавна знакомого со степью вдоль и поперек, автора, резонирующего и поэтизирующего свои впечатления, перемежаются с реальными непосредственными ощущениями ребенка; в отдельности и то и другое верно, поэтич-

но; но переходов между ними нет или они слишком резки; внимательного читателя это иногда сбивает и вредит цельности его впечатления! Тургенев в этом смысле (как достигать цельности впечатления) великий мастер и образец, достойный изучения: самые незначительные его рассказы производят эффект тем искусством, с коим он выбирает какую-нибудь человеческую фигуру в посредники между изображаемым миром и читателем (нечто вроде прозрачной среды, собирающей и преломляющей световые лучи, прежде чем они дойдут до глаза), и никогда не выходит из тона и миросозерцания той фигуры.

В общем Ваш рассказ произвел на меня впечатление большого полотна, зарисованного маленькими картинами; Вы мало обратили внимания на постройку; если к этому я прибавлю, что на мой вкус второй рассказ старика о разбойниках лишний и что губчатая шишка Емельяна, а также пожирание живой рыбы Васей мне кажутся неприятными подробностями, которые ничего не мотивируют и

сами ничем не мотивированы, то этим, пожалуй, будет исчерпано все, к чему бы я мог придраться.

Затем остается только кланяться и благодарить! Картины природы, душевное состояние ребенка, огромное количество нарисованных фигур… короче — все полно жизни, правды и поэзии! Тургеневу хватило бы Вашего материала на полдюжины «рассказов охотника»! Вы не слепы и не глухи к божьему миру; видите его краски, слышите его звуки; у Вас много отзывчивости на всякое дыхание жизни, много способности передавать восприятие впечатления для всех ясно, осязательно и нередко с неуловимою тонкостью; к этому свойству чуткости надо прибавить меткость. Вы умеете передавать особенные черты во всей их особенности, с их запахом и вкусом, с их характерностью; читатель ясно видит не только главных действующих лиц, но и все немые, мимоходом набросанные Вами фигуры: таинственного Тита (сколько я видел таких мальчишек!), интеллигентную парочку в церкви, Варламова и пр…

Затем в весьма значительной степени Вы владеете душевным настроением: за внешними проявлениями жизни, ее звуками, линиями и красками Вы чуете жизнь души, моменты душевных состояний; чуете, изображаете и заставляете читателя их переживать; гроза, болезнь Егорушки, подводчики, Дымов, ненавистник Соломон, счастливый муж… все это и многое другое захвачено психически верно, изображено тонко — задушевно; фигура счастливого мужа положительно восхитила меня; думаю, что от нее не отказался бы ни один из прежних наших больших беллетристов! Тонкость ощущений в соединении с отсутствием болезненной нервности чрезвычайно привлекательны, от Ваших отношений к жизни веет чем-то свежим, здоровым; в этом коренное Ваше различие с современными молодыми беллетристами: между ними есть люди с талантом, но или психопатическое нытье, или тупой, озлобленный радикализм мешает им смотреть просто на божий мир. Короче, главные, первичные элементарные

свойства таланта у Вас в изобилии; это дает повод надеяться на большее; вернее сказать, дает право требовать большего; талант обязывает! Хочется думать, что Вы пойдете дальше: от жанровых сценок перейдете к большим картинам. Когда я старался осмыслить впечатление, выносимое мною из чтения Ваших маленьких рассказов, мне иногда приходило в голову такое сравнение: пианист подходит к рояли и берет аккорд, иногда повторит его раз, другой сильнее или слабее, октавой выше или октавой ниже… и только! Кажется, немного, но отчего же взятый аккорд затрагивает в душе слушателя чувствительное место и иногда очень глубоко в ней отдается; удивительная способность! Но все-таки это аккорд — не больше; пора приняться за мелодию; Вы доказали свою способность к изображению душевных настроений, моментов, когда душа одержима известной эмоцией и из нее не выходит; приятно было бы, чтобы изображение расширилось на всю область душевной жизни и затронуло направление воли, чтобы мы увидали, как

человек не только чувствует, принимает жизнь, но и как он действует, устраивает свою судьбу активно и как слагается, во взаимодействии данного от природы характера с влиянием окружающей среды, его душевный облик. Хочется думать, что сила таланта не истратится по мелочам, что из толпы воспринятых душой образов, сменяющих друг друга, некоторые вынырнут, привлекут к себе исключительное внимание автора и вырастут в представителей общественных типов и идеалов; что к элементарным, инстинктивным свойствам таланта превзойдет и сознательное чувство меры, без коего нет художественного произведения, и обобщающие явления жизни идеи, без которых не может быть большого писателя — то и другое приобретается личным усилием и трудом, — и что мы дождемся, наконец, хорошего русского романа; романа, т. е. не жанровых картинок, не одних рассказов, порожденных временным субъективным настроением автора, а объективного изображения современного общества с его чувствованием и

пониманием жизни, с его верованиями, идеалами, или по крайней мере с его поисками за верованием, с его тоской по отсутствующему идеалу. Чувствуете ли вы, как нужен нам такой роман? В последние десять, пятнадцать лет мы совершенно утратили понимание русской жизни. За эти годы совершилось многое: изменился весь прежний строй общества, разложились окончательно прежние сословия с их крепкой типовой жизнью, увеличился чуть не вдесятеро личный состав среднего общества, народился интеллигентный пролетариат, люди иначе, не по-прежнему чувствуют жизнь, приспособляются к ней, иначе веруют и не веруют, иначе молятся, иначе ищут душевного равновесия…

…Я твердо убежден, что новая жизнь не исчерпывается, как уверяют многие, разливом пошлости и кулачества, и думаю, что шум и сутолока жизни только мешают присмотреться к той сокровенной внутренней работе, которая в ней непрестанно совершается. Личность кристаллизируется по-новому, складывается

новый общественный тип, а литература и журналистика все корячатся со своим направлением 60-х годов, которые в сущности давно выдохлись и от которых остались только фраза да поза!

…Позвольте пожелать Вам: 1) сохранить свою независимость от редакций и литературных кружков; их зловредные влияния исказили или свели на нет немало начинающих талантов и 2) писать не спеша и овладеть секретом постройки беллетристических произведений, что ведь не Бог знает как трудно; пишите, если вам так уж Бог послал, шесть печатных листов в месяц, но еще хоть месяц прибавляйте на отделку написанного; дайте нам три-четыре безукоризненно отделанных повести; а роман (пожалуйста, не забудьте своего обещания показать мне первую часть; теперь, по прочтении «Степи», я еще больше этим интересуюсь) пускай зреет потихоньку: он ничего от этого не потеряет!

5.

Ал. П. Чехов — А. П. Чехову

4 марта 1888 г.

<...> Твоей «Степи» я еще не читал, хотя о ней уже написал «крытыку на крытыку» Буренин.[26] Первым прочел Суворин и забыл выпить чашку чаю. При мне Анна Ивановна меняла ее три раза. Увлекся старичина. Затем книга «Северного вестника» поступила к Буренину, а от него поступит ко мне. Читай поэтому изложение того, что мне приходилось слышать. Первым делом Буренин за все твои недостатки и промахи в «Степи» отчитал меня (это уж моя доля горькая быть братом): жиды вышли слабы, но не вообще слабы, а сравнительно с теми лицами, которых ты рядом вывел в «Степи». Сами по себе, как жиды, они нисколько не погрешают перед Талмудом, но «для пятый класс моз-

[26] Примечания: 26

«Критические очерки» В. Буренина (Новое время. 1888. 4 марта), где похвалы «Степи» чередовались с резкими выпадами против либерально-демократических журналов, в частности — «Северного вестника».

но лутче». Петерсен ходит на голове от восторга и стремится уверить всю вселенную, что твоя «Степь» — не мой «Тесак». Нравится ему особенно то философское мнение, что человек живет прошедшим. Вообще же он кричит, неистово машет руками, колышет чревом и готов съесть всякого, кто позволит себе усомниться в том, что существуют гении. В радостном исступлении он чуть не съел меня и изругал всех сотрудников за то, что они осмеливаются марать бумагу и печать своим бездарным строчничаньем в то время, когда существуют мощные могиканы. Недостает только, чтобы кто-нибудь во имя твоей «Степи» свернул ему шею: он и это принял бы за несомненно подавляющее влияние твоего таланта. Во всяком случае, ушат холодной воды был бы кстати. Самым лучшим ценителем оказался наш редактор Федоров. Он прямо заявил: «Какие вы, господа, чудаки: хорошо написано — Буренин похвалит, а дурно — выругает, и все тут. Есть из-за чего с ума сходить и волноваться. У меня вон целый ворох талантливых рассказов

„к возврату“. Если бы я по поводу каждого из них волновался, меня давно бы на свете не было». — «Да, старик, — ответил ему Буренин, — ты прав, хотя и лжешь. Ты любишь писанное, но своеобразно: ты любишь штрихи на лицах женщин — француженок, с которыми блудишь. Но блудить много не годится, и ты умрешь не от рассказов, а от невоздержности. Стыдись, старик, пора тебе выработать настоящий взгляд на вещи. Ведь ты не молод, ты даже в тюрьме сидел…».

Буренин тоже радуется и свою радость вылил в фельетоне, которого я еще не читал, ибо пишу ранее, нежели мне принесли газету. Но сообщить тебе он велел следующее: Написано чудесно. Такие описания степи, как твое, он читал только у Гоголя и Толстого. Гроза, собиравшаяся, но не разразившаяся — верх совершенства. Лица — кроме жидов — как живые. Но ты не умеешь еще писать повестей: из каждого печатного листа можно сделать отдельный рассказ, но твоя «Степь» есть начало или, вернее, пролог большой вещи, которую ты пишешь. Все Короленки

и Гаршины перед тобою бледнеют (так и напишите ему: бледнеют).

Ты самый выдающийся и единственный из современных молодых писателей. «Пусть только *большое* напишет…»

Итак, Антоша, пиши большое <…>

6.

Н. А. Лейкин — А. П. Чехову

5 марта 1888 г.

<…> Читал Вашу «Степь». Сказать по совести, читается невесело. Повесить мало тех людей, которые советовали Вам писать длинные вещи. Длинные вещи хороши тогда, когда это роман или повесть, с интригой, с началом и концом. Впрочем, в «Степи» есть прелестные страницы, и особенно та, на которую указывает Буренин в своем фельетоне. Фигура попа Христофора превосходна, но тянуть ее на 92 страницах — много. Впрочем, страниц 25 до конца я еще не дочитал. Мое мнение такое: в мелких вещах, где Вы являетесь юмористом, Вы больший мастер <…>

7.

М. — А. П. Чехову

9 марта 1888 г.

Часто, когда я читаю Гоголя и Толстого, у меня рождается страстное желание расцеловать у них руки… Ведь это не безнравственно, Антон Павлович? Нет? Ну, что бы Вы там ни подумали, а скажу Вам искреннюю правду, что это же желание родилось во мне, когда я читала Вашу «Степь». Ничего такого, как «Степь», Вы еще не писали.

Это чудное описание так мягко, тепло и задушевно, что, право, так и кажется, что вот едешь, едешь сама ты по степи и видишь все перед глазами.

Только что-то особенное поражает меня в ней: в каждой строчке сквозит какая-то тихая, сдержанная грусть и страстное искание чего-то…

Как будто Вы не счастливы. Я прочла все два раза. Только ведь это что-то вроде начала или просто отрывочек из чего-то

большого и, должно быть, также прекрасного.

Теперь вот, думаю я, настало то время, когда Вы должны бы были задумать большой труд, который бы составил Вам имя…

Простите меня, если я нескромно вмешалась в Ваши дела. Я думала, думала, когда читала; скопилось так много, что я позволила себе написать обо всем Вам, позволила себе это письмо, которое, может быть, уже утомило Вас своей длинной монотонной сухостью.

М.

8.

А. Н. Плещеев — А. П. Чехову

10 марта 1888 г.

<…> Сколько я похвал слышу Вашей «Степи»! Гаршин от нее без ума. Два раза подряд прочел. В одном доме заставили меня вслух прочесть эпизод, где рассказывает историю своей женитьбы мужик, влюбленный в жену. Находятся, впрочем,

господа, которые не одобряют… Про одного такого рассказывал Гаршин и глубоко возмущался… потому что это было явно из зависти. Это один из новых писателей и ужасно дрянненькая личность.[27] Начали ли Вы еще что-нибудь — и что именно? Или отдыхаете после «Степи»? Имеете на то полное право <…>

9.

А. Н. Плещеев — А. Л. Плещееву

6 апреля 1888 г.

<…> Я сегодня был у Салтыкова. Он редко кого хвалит из новых писателей. Но о «Степи» Чехова сказал, что «это прекрасно», и видит в нем *действительный талант* <…>

[27] Примечания: 27

Это один из новых писателей и ужасно дрянненькая личность. — Вероятно, А. И. Леман (1859–1913), автор книг «Очерки кадетской жизни» и «Теория бильярдной игры: Руководство для новичков и артистов». В своих воспоминаниях Леман сам рассказывал, что отрицательно отзывался о «Степи» в присутствии Гаршина (День. 1888. 18 сент.).

10.

А. А. Плещеев — А. П. Чехову

7 апреля 1888 г.

<…> Был отец у Салтыкова, который в восторге от «Степи». «Это прекрасно», — говорил он отцу и вообще возлагает на Вас великие надежды. Отец говорит, что он редко кого хвалит из новых писателей, но от Вас он в восторге <…>

11.

А. Н. Плещеев — А. П. Чехову

14 апреля 1888 г.

<…> Вы пишете, что не знаете до сих пор, в чем Ваша сила и в чем слабость. Правда, что критики о Вас не было ни одной солидной. (Арсеньева статьи я не читал еще.)[28] Но сколько мне случалось слышать от разных лиц, то Вас обвиня-

[28] Примечания: 28

…Арсеньева статьи я не читал еще. — Имеется в виду статья К. Арсеньева «Современные русские беллетристы» (Вестник Европы. 1888. № 7).

ют в том, что в Ваших произведениях не видно Ваших симпатий и антипатий. Иные, впрочем, приписывают это желанию быть объективным, намеренной сдержанностью… другие же индифферентизму, безучастию. Но все и хвалители и порицатели признают в Вас выдающуюся художественную силу, мастера в пейзаже и тонкого психолога. Погодите, напишете еще две-три вещи — и критика выскажется о Вас определеннее; теперь Вашей вещи ни одной не пройдут молчанием <…>

12.

Д. В. Григорович — А. П. Чехову

8 октября 1888 г.

<…> Прочел Вашу «Степь» и начал Вам писать о ней, но бросил письмо, так как конца ему не видел; скажу только: рама велика для картины, величина холста непропорциональна сюжету. «Видение Иезекиля» Рафаэля изображено на 10-вершковой доске и кажется громадной

картиной. Когда является содержания на 10 печатных листов, надо стараться вогнать его в три листа — в этом вся штука; тогда только статья или повесть бьет обухом и как свайка вбивается не в землю, а в мозг читателя. Нечего и говорить, как я рад буду обнять Вас и поговорить с Вами. Приедете в Петербург — скорее заверните ко мне. Вы знаете как — мимо литературы, я люблю Вас <…>

13.

О. Г. Галенковская — А. П. Чехову

1 января 1889 г.

С того дня, как Вы побывали в редакции «Родника» (перед Рождеством), Антон Павлович, меня не перестает (изредка) мучить мысль о моей грубости относительно Вас, и мне хочется объяснить Вам, как могло случиться, что я, видя Вас в первый (и, может быть, в последний) раз в жизни, резко и, что называется, «ни с того, ни с сего» заявила Вам, что Ваша «Степь» мне совсем не понравится, а «Огни» для

меня темны[29] и т. д. Я чувствую, что это было грубо, и если в Вашей памяти не осталось ни малейшего воспоминания об этом разговоре, то мне от этого не легче.

Видите ли, Антон Павлович, я для Вас — человек совершенно чужой и неизвестный. Вы же для меня — хорошо знакомый и очень симпатичный мне автор, за которым я слежу с большим интересом; увидев Вас, я очень обрадовалась, что Вы еще так молоды (я мысленно дала Вам 27–28 лет), — раньше я все боялась, что Вы один из тех вечно начинающих писателей, на которых и критики и читатели долго и упорно возлагают всевозможные надежды, так долго, что у «начинающего писателя» уже и волосы посеребрятся, а от них все чего-то ждут, пока, наконец, кто-нибудь не догадается, что ждать нечего и не закричит об этом во всеуслышание… Помню я, как подобные ожидания возлагались на Альбова, Макс. Белинского, Баранцевича; а теперь едва ли найдется такой наивный

[29] Примечания: 29

…«Огни» для меня темны… — Повесть Чехова «Огни» опубликована в «Северном вестнике» (1888, № 6).

читатель или снисходительный критик, который согласился бы давать им новые отсрочки, — до того очевидно, что все три названные беллетриста — «отцвели, не успевши расцвесть», — отчего?.. Оттого ли, что талантом Бог обидел, оттого ли, что «придавила их бедность грозная» и разные другие угнетающие обстоятельства, в которых нет недостатка в нашей жизни, оттого ли, что заело их невежество, увы! имеющее много адептов среди не только «начинающих» беллетристов, но и среди успешно продолжающих свое дело… Как бы то ни было, ждать от них чего-нибудь больше того, что они совершили, нельзя. Теперь ждут от других — главным образом от Короленки и от Вас, и я жду вместе с другими, жадно читая все, что вы оба напишете.

Вы теперь поймете, Антон Павлович, что, переживая по поводу Ваших писаний самые разнообразные мысли и чувства, переживая все Вами написанное и напечатанное, я не могу относиться к Вам так, как отнеслись бы Вы ко мне, если бы встретили меня где-нибудь, т. е. как

к человеку незнакомому и чужому; поэтому, когда Вы вошли к нам в редакцию (я продала Вам «Читальню») и сказали, что Вы — Чехов, я подумала с радостью: а, Чехов! Вот он какой! Мне вдруг захотелось сообщить Вам о моих читательских треволнениях, но это было невозможно и опять-таки было бы «ни с того, ни с сего…» Взволнованное состояние моей читательской души выразилось тем, что я сказала Вам несколько фраз, которые наверно показались Вам очень грубыми, так как всей внутренней работы, предшествовавшей им, Вы, конечно, не знали… О «Степи» собственно я сказала даже совсем не то, что хотела сказать. Помню я, что когда вышла 3-я книжка «Северного вестника» за прошлый год, многие из моих знакомых спрашивали меня при встрече:

— Читали вы «Степь» Чехова?

— Нет еще, а что?..

— Прочтите непременно, — прекрасная вещь, превосходная… Давно ничего подобного не было.

Но я почему-то долго не могла достать

той книжки «Северного вестника», где была напечатана «Степь». Умер Вс. Гаршин.

— Слышали вы, — сообщал кто-то мне, — Гаршин накануне смерти весь день читал и перечитывал «Степь» и говорил: «Вот как надо писать!»

Тут уж я не могу больше ждать: добываю «Северный вестник», бегу домой, усаживаюсь у своего стола и принимаюсь читать… Дочитываю до конца: действительно, прекрасно — так ярки, осязательно живы картины степной природы, что просто забываешься — кажется, что сам едешь с обозом, лежишь на последнем возу вместе с Егорушкой и рассматриваешь типичные фигуры возчиков, которых, я думаю, можно нарисовать без «натуры», а только хорошенько перечитав те места рассказа, где они описаны. Картины природы действуют на душу почти так, как сама природа… Первое время после чтения «Степи» просто не хотелось о ней думать — хотелось сохранить подольше свежее чувство, которое «Степь» навеяла на душу… Но, увы! оно не сохранилось

долго, да и не могло сохраниться — как хорошо ни описывайте природу, все-таки это будет только описание… Бывают удивительно хорошо сделанные фотографические портреты людей, но ни один портрет никогда не даст того непосредственного живого впечатления, как сам оригинал портрета… С описанием природы то же самое: как Вы ни изощряйтесь, а все-таки Ваше описание будет лишь мертвым портретом, оживить который доступно только человеку с сильным воображением, человеку впечатлительному больше обыкновенного (неудивительно, что Вс. Гаршин восхищался «Степью» — да к тому же ему хорошо был знаком оригинал, с которого Вы написали Вашу «Степь»); для большинства же читателей «Степь» будет просто скучна — я в этом совершенно уверена; я не хочу этим сказать, что писатель должен руководствоваться вкусами *большинства* — сохрани Бог!

Ты — царь: живи один. Дорогою свободной

Иди, куда влечет тебя свободный ум…[30] *и т. д.*

Я хочу сказать, что нет смысла писателю заниматься *ажурными работами*, потому что читателям они ничего ровно не дают, кроме кратковременного и очень неглубокого наслаждения (да и то — немногим). Между тем среди всей этой ажурной работы то здесь, то там мелькают фигуры, которые, несмотря на то что они очерчены всего несколькими штрихами, — так, мимоходом и между прочим, — приковывают к себе внимание, например, идеалист Соломон: жалкая, смешная, кургузая фигурка, возбуждающая вместе с тем глубокое сочувствие и интерес к себе, — какую, в самом деле, потрясающую душевную драму должен был он пережить для того, чтобы *сжечь* свои шесть тысяч (ой, вей — мир!!) вместо того, чтобы сделать на них какой-нибудь «гешефт» и, может быть, разбогатеть со временем, как Варламов,

[30] Примечания: 30

Ты — царь: живи один. Дорогою свободной / Иди, куда тебя влечет свободный ум… — Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэту» (1830).

который тоже мог начать с шести тысяч и даже с шести копеек… Откуда в несчастном жидке, выросшем в темной среде, сознание своего человеческого достоинства настолько ясное и сильное, что он открыто *презирает* людей, которым все кругом поклоняются, как некогда израильские предки Соломона поклонялись золотым идолам, пока Моисей не принес с горы Синайской заповеди «не творить кумиров»… И так жадно хочется знать всю историю Соломона во всех подробностях… Но, увы! автор «Степи» не любит долго оставаться на одном и том же месте, — бричка готова, надо ехать дальше… И вот уже Соломон, со своим идеализмом и кургузым пиджаком, исчезают в облаке пыли, которая поднялась из-под брички… Прощай, Соломон!..

Так же быстро появляются в сознании читателя и другие более или менее типичные лица и бесследно исчезают… «Вперед, моя история!..»[31] И куда Вы только спешите?.. Не подумайте, однако,

[31] Примечания: 31

«Вперед, моя история…» — Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. 6, строфа IV).

Антон Павлович, что я хочу читать Вам наставления: я уверена — говорю это совершенно искренно — что Вы несравненно умнее и образованнее меня. Вы ведь помните — я хотела объяснить Вам источник, откуда вытекла моя грубость относительно Вас; кроме того, я Вам передаю мои читательские размышления и чувства. Я очень боюсь за Вас, Антон Павлович, — боюсь, что Ваш способ писать быстро и как бы мимоходом обратится у Вас в привычку. Боюсь, что Вы спешите печататься, — что это так, меня в этом убеждают «Огни». Но, кроме того, я боюсь, что мое письмо слишком длинно, поэтому кончаю его.

Если Вам не лень, напишите мне два слова о том, не навела ли на Вас «сия эпистолия» жестокой скуки?.. Отвечайте на вопрос прямо. Каков бы ни был ответ, я заранее признаю его законность, так как полагаю, что ни один человек в мире не имеет права наводить на другого человека скуку, да еще смертельную!!

Я бы хотела еще кое-что сказать Вам об «Огнях», «Припадке»[32] и проч...

О. Галенковская (Ольга Георгиевна)

14.

Ф. А. Червинский — А. П. Чехову

1891 или 1892 г.

<...> Когда я вспомню, что такая чертовски умная вещь, как «Скучная история», и не вызвала ничего, кроме 2-3-х никому не нужных замечаний, а «Степь» — бледных похвал описательной стороне, как будто в «Степи» мало людей, — мне делается смешно, что я обижаюсь за себя <...>

15.

А. И. Эртель — А. П. Чехову

25 марта 1893 г.

<...> Я долго не знал, а потому и не це-

---

[32] Примечания: 32

...«Припадке»... — Рассказ Чехова «Припадок» появился в сб. «Памяти В. М. Гаршина», вышедшем в конце 1888 г.

нил Вас как писателя. Первое прочитал — «Степь», но несоразмерное нагромождение описаний, — правда, в отдельности очень тонких, — меня утомило и не заинтересовало Вами <…>

16.

Х. Н. Абрикосов — И. А. Абрикосову

27 января 1903 г.

<…> Льву Николаевичу лучше, и сегодня он сидит в кресле и занимается. Вчера вечером его прикатили в кресле с колесами в залу, и он долго сидел с нами за чаем.

Между прочим назвал четыре вещи Чехова, которые он хвалит: «Детвора», «Тоска», «Степь» и «Душечка» <…>

88, III, 9

Часто, когда я читаю Гоголя и Толстого, у меня рождается страстное желание рассматривать у них брови..... Вот это не безнравственно, Антон Павлович? — Антон? — Ну, что бы Вы такое не подумали, а скажу Вам искренно правду, что это желание родилось во мне, когда я читала Вашу Сашу. Ничего такого, как Саша, Вы еще не писали. — Это чудное описание такой

Письмо читательницы к А. П. Чехову.

Автограф. РГБ. Москва

ПРИЛОЖЕНИЯ



А. П. Чехов Фото 1888 г. ГЛМ. Москва

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Инициатором издания повести «Степь» А. П. Чехова в серии «Литературные памятники» более десяти лет назад выступил Д. С. Лихачев. О том, что такое издание готовится, было сообщено уже в 1984 г. в «Справочнике» «Литературных памятников» (М., Наука).

По независимым от редакционной коллегии причинам издание это все время откладывалось. Отстаивая его необходимость, Д. С. Лихачев в одном из официальных писем в издательские инстанции писал: «Считаю научное, комментированное издание „Степи“ Чехова очень важным, так как по своим художественным особенностям это самое современное (в общеевропейском аспекте) повествовательное произведение Чехова. Хорошо бы нам не отказываться от наших художественных приоритетов». Считая, что повесть «Степь» «предвосхищает эстетически европейский XX век», Д. С. Лихачев писал в другом письме: «…проза этого произведения предвосхищает новую прозу XX века. Поэтому в творчестве Чехова „Степь“ занимает особое место и требует отдельного издания…».

Редколлегия серии «Литературные памятники» предоставила право подготовки повести А. П. Чехова «Степь» Михаилу Петровичу Громову (1927–1990).

Глубокий знаток творчества Чехова, автор многих статей и нескольких книг, посвященных писателю, тонкий интерпретатор его новеллистики и драматургии, М. П. Громов с особенной, трепетной любовью относился к повести. Очевидно, это было связано с тем, что он рос, учился и работал в краях, описываемых Чеховым в «Степи», впитал природу и воздух тех мест, прошел и проехал маршрутом, которым едет по степи мальчик Егорушка… Воспринимая сюжет повести как глубоко личный, М. П. Громов анализирует это сочинение Чехова в контексте всей русской литературы.

К сожалению, М. П. Громов, увлеченно работавший над статьей о «Степи» именно для серии «Литературные памятники», не дождался выхода книги в свет.

Включая одну из вершин творчества А. П. Чехова в серию, редколлегия посвящает ее издание памяти Михаила Петровича Громова.

М. П. Громов
«СТЕПЬ» КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАМЯТНИК

Повесть «Степь», напечатанная впервые в 1888 г., много раз переиздавалась в составе различных сборников. Отдельное научное ее издание осуществляется впервые.

Со времени первой публикации прошло более ста лет. История литературы с той неторопливостью, с какой она отбирает из общего потока свои ценности, нашла «Степь», чья скромная поэзия полна глубокого смысла и сокровенных соотнесений с отдаленнейшими горизонтами русского художественного слова.

Открытия в литературе сродни великим географическим открытиям: новые темы простираются, как новые земли, их заселяют и обживают постепенно. Неизведанности и простора хватает надолго, иногда — на несколько поколений. Собственно, это и подразумевал Чехов, когда в связи со «Степью» писал: «Быть может, она раскроет глаза моим сверстникам и покажет им, какое богатство, какие залежи красоты остаются еще

нетронутыми и как еще не тесно русскому художнику» (Д. В. Григоровичу, 12 января 1888 г.).[33]

1

«Степь» — первая и самая пространная из серьезных повестей Чехова — была написана всего лишь за пять недель. Чехов принялся за нее в самом конце декабря 1887 г., а 3 февраля 1888 г. уже отослал ее в Петербург, в «Северный вестник», где в марте того же года она и увидела свет. В эти дни он написал и отправил А. Н. Плещееву, Д. В. Григоровичу и другим более двадцати писем, подробно комментирующих весь ход работы над «степным» замыслом. Поскольку и на них ушло немало времени, плотность работы, к которой автор относился столь ответственно и серьезно, должна казаться воистину удивительной.

В юмористической журналистике Чехов привык писать к сроку, но торопливо писал очень редко — разве что такие «горячие» материалы, как фельетон московской жизни или судебные репортажи для «Осколков» и «Петербургской

[33] Примечания: 33

Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Письма: В 12 т. М., 1974–1983; Письма. Т. 2. С. 173. Далее отсылки в тексте с указанием серии (С. — Сочинения, П. — Письма), тома и страницы.

газеты». Замыслы многих рассказов и повестей вынашивались подолгу, иногда годами: «Архиерей», например, обдумывался пятнадцать лет.

Здесь очень важны записные книжки, в которых отражалось все, что может быть названо творческой историей, поскольку рукописей своих, ни беловых, ни черновых, Чехов, за редкими исключениями, не сохранял.

Время от времени на страничках записных книжек появлялись имена, названия, реплики, наброски диалогов, наконец, завершенные фразы, целые периоды будущего белового текста. Тогда и наступало время работы над рукописью, давно уже существовавшей не только в замысле, но и в черновике. В комментариях обычно отмечаются даты создания; им предшествует своеобразное «черновое» время, иногда занимавшее годы. Своя предыстория, конечно, была и у «Степи»: беда в том, что ранние записные книжки до нас не дошли.

Для создания серьезной вещи одного таланта было мало. Нужна была та «дорога к толстым журналам», которую Чехов долго прокладывал и которая открылась перед ним весною 1886 г., когда он получил письмо Д. В. Григоровича, помеченное 25 марта. «…У Вас *настоящий* талант, — талант,

выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколенья <…> Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. Для этого вот что нужно: уважение к таланту, который дается так редко. Бросьте срочную работу. Я не знаю Ваших средств; если у Вас их мало, голодайте лучше, как мы в свое время голодали, поберегите Ваши впечатления для труда обдуманного <…> Один такой труд будет во сто раз выше оценен сотни прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам; Вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и затем всей читающей публики».[34]

Григорович был одним из последних могикан в том отошедшем уже поколении, которое стояло у истоков классической русской прозы XIX в. Он знал Белинского, Некрасова и Тургенева, был дружен с Достоевским, входил в круг «Современника». Основное в его обширном литературном наследии было опубликовано в 1840-1850-е годы; в 1883 г. он ненадолго вернулся в литературу с

---

[34] Примечания: 34
Переписка А. П. Чехова: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 276–277.

«Гуттаперчевым мальчиком». Письмо от такого писателя должно было поразить Чехова и, как это и случилось, оставить глубокий след в его душе.

Но и Чехов в свой черед тронул Григоровича яркой одаренностью и чистотою стиля, необычного в том литературном поколении, от которого старый писатель, вероятно, ничего путного не ждал. В «Петербургской газете» 1885–1886 гг. он нашел несколько рассказов Антоши Чехонте — среди них был «Егерь», напомнивший ему «Записки охотника», — и отметил для себя это имя, выделив его из множества ничего не обещавших имен.

В переписке, возникшей, казалось бы, по счастливой случайности (ведь Григорович мог и не отметить чеховские рассказы или не откликнуться на них), есть нечто исторически неизбежное. Один из поздних персонажей Чехова говорит: «Если бы у меня была охота заказать себе кольцо, то я выбрал бы такую надпись: „Ничто не проходит“» («Моя жизнь», 1895. С., 9, 279).

С писателями старшего поколения Чехов в эту пору общался охотнее и легче находил с ними общий язык, чем с иными из своих сверстников. Его заветные замыслы — в частности, и «Степь» — хорошо понимали люди, помнившие и ценившие

не только «Записки охотника», но и романтическую поэзию и прозу пушкинских и гоголевских времен. Н. К. Михайловскому, например, «Степь» показалась старомодной и скучноватой, и не диво: привычно было читать об эмансипации женщин, о нигилизме или хождении в народ, а степь, дорога, поэзия зорь и гроз — все это давно уже вышло из моды. Григорович восторгался «Егерем» потому, что узнал в нем тургеневский почерк, а критик В. К. Стукалич (Веневич) бранил «Степь» за то, что она не походила на степные очерки Левитова…

Старая критика, а вслед за нею и позднейшее литературоведение весьма уверенно говорили о том, что Чехов выдвинулся в пору безвременья, в годы своеобразного интеллектуально-художественного застоя, когда умерли Достоевский, Островский, Тургенев, Писемский, как будто смерть писателя, конец его земного существования есть в самом деле конец, а не начало его жизни в общественном сознании, его славы (если она не мимолетна, то поневоле посмертна), его исторической судьбы.

Чехов, которому в ту пору исполнилось 26 лет, был растроган письмом Григоровича, как никаким иным в своей жизни. «Ваше письмо, мой

добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния <...> Как Вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит Вашу старость». Есть в этих строках, помеченных 28 марта 1886 г., открытость и лирика, каких в обширной чеховской переписке, пожалуй, больше не найти; обычно он писал сдержаннее и спокойнее, и тон его ответа, быть может, ярче всего свидетельствует о том, какую цену имело в его глазах обращение Григоровича: «У меня в Москве сотни знакомых, между ними десятка два пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника» (П., 1, 216, 218).

Обращаясь к человеку, портрет которого он еще в гимназические годы видел в монументальном трехтомнике «Русские современные деятели», Чехов писал о том распутье — или, говоря точнее, о том тупике, в котором, как ему тогда казалось, он очутился. Среди нескольких сотен рассказов и сценок, напечатанных к этому времени в юмористических еженедельниках, были вещи классические, оставшиеся в золотом фонде русской литературы, но тем не менее о своем «осколочном» прошлом он вспоминал с болью.

В отношении больших писателей к своему

раннему творчеству всегда есть сомнения и недовольство; позднее Чехов вполне серьезно писал Короленко, что ему случалось водить свою музу в такие места, где бывать ей совсем не подобало. Главная беда была в том, что появление писателя в юмористической журналистике, в так называемой «малой прессе», работа под псевдонимом или даже под разными псевдонимами воспринималась как заведомое легкомыслие и шутовство: «Люди „идейные“ интересовались им, в общем, мало: признавали его талантливость, но серьезно на него не смотрели, — помню, как некоторые из них искренне хохотали надо мной, юнцом, когда я осмеливался сравнивать его с Гаршиным, Короленко, а были и такие, которые говорили, что и читать никогда не станут человека, начавшего писать под именем Чехонте. „Нельзя представить себе, — говорили они, — чтобы Толстой или Тургенев решились заменить свое имя такой пошлой кличкой“».[35]

Больше того: такое прошлое могло лишить писателя всякого будущего. Чехов писал секретарю «Осколков» В. В. Билибину 28 февраля 1886 г.: «Надо полагать, после дебюта в „Новом време-

---

[35] Примечания: 35

Бунин И. Л. Собр. соч.: В 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 197.

ни“ меня едва ли пустят теперь во что-нибудь толстое… Как вы думаете? Или я ошибаюсь?» (П., 1, 204).

Он ошибался: его скоро пригласили в «Северный вестник», для которого и была предназначена «Степь». Но здесь сыграли свою роль рекомендации Плещеева и Григоровича, дружеское расположение Короленко. Позднее Чехов даже гордился тем, что «пробил дорогу» к толстым журналам, странным образом не заметив, что пройти по этой дороге не смог вслед за ним никто. Это не стало правилом, это было единственное в своем роде исключение, о котором критик Л. Е. Оболенский писал так: «…он народился, так сказать, в ослиных яслях, в юмористических журналах, среди того навоза, которым покрывают свои страницы эти несчастные листки, в виде карикатур на обманутых мужей, на зловредных тещ и в виде рисунков с обнаженными бабами. Среди такого общества трудно было заметить г. Чехова».[36]

---

[36] Примечания: 36

Оболенский Л. Е. Обо всем // Русское богатство. 1886. № 12. С. 166.

2

К тому времени, когда Чехов принялся за свою «Степь», у него уже были известность и довольно громкое литературное имя — Антоша Чехонте: вышли в свет его первые сборники; «Пестрые рассказы» пользовались популярностью. Бунин вспоминал: «...я эту книгу прочел в поезде, не отрываясь, купив ее в Ельце, на вокзале, в шестнадцать лет, и пришел в восторг».[37]

Литературная судьба Чехова, казалось бы, вполне определилась, и обращение его к непривычному жанру, к пространной и, как вскоре с редким единодушием отметит литературная критика, скучноватой повести казалось необъяснимой причудой; Н. А. Лейкин был уверен, что его любимого сотрудника сбивают с пути: «Повесить мало тех людей, которые советовали Вам писать длинные вещи».[38]

Эта повесть, отделившая Антошу Чехонте от Антона Чехова, читалась как фрагмент несосто-

---

[37] Примечания: 37

Бунин И. Л. Собр. соч. Т. 6. С. 152.

[38] Примечания: 38

Балухатый С. Д. Вокруг «Степи» // А. П. Чехов и наш край. Ростов н/Д., 1935. С. 127.

явшегося романа, как своеобразная «переломная» форма. И мысль о «переломе» в чеховском творчестве, восходящая к старой русской критике, дожила до наших дней и по-прежнему занимает свое, теперь уже хрестоматийное место среди таких примелькавшихся трюизмов, как этнографичность, бессюжетность или «местный колорит». По-прежнему «Степь» заключена в своеобразные нераскрытые скобки: никаких соответствий с ранним творчеством, где ничто, казалось бы, не предвещало появления этой далекой от всякого юмора повести, никаких соотнесений с драматургией и прозой последующих зрелых лет, наконец, никаких сопоставлений с классическими повествовательными традициями, хотя на них-то прежде всего и опирался в этой повести Чехов.

Дело здесь не в отдельных ошибках биографов и комментаторов, а в общей концепции творческой эволюции Чехова, которая сложилась еще при его жизни и в те времена, строго говоря, не могла быть иной. Как всякая традиционная схема, она обладает большой инерцией и преодолевается медленно и с трудом, так что и в наши дни едва ли кто-либо решится утверждать, что проблем, так или иначе связанных со «Степью»,

больше не существует.

С появлением «Степи» сложилась такая картина творческой эволюции Чехова: он шел в литературе путем постепенных количественных накоплений, от юморески в несколько строчек к сценке, затем к рассказу, водевилю, большой повести, пьесе — и так от безвестных безделушек до «Студента», «Дома с мезонином», «Трех сестер» и «Вишневого сада». Собственно, и «Степь» показалась критике «собранием картинок и сценок», поскольку ее автор не имел опыта работы над крупной литературной формой. Так и писали: и ничего мы вместе не сольем…

Возникла характернейшая историко-литературная коллизия, когда непривычная, новаторская вещь воспринимается как вещь неудавшаяся. Позднее так будет с «Чайкой» и «Вишневым садом», а раньше — гораздо раньше, на заре творчества — так было с юношеской пьесой («Безотцовщина»), каким-то чудом сохранившейся в семейном архиве, несколько десятилетий пролежавшей в безвестности и наконец возвращенной к жизни в сценарии кинофильма «Неоконченная пьеса для механического пианино». С точки зрения традиционного старого театра это была вовсе не пьеса, а неумелый черновик, нагромождение

сцен, монологов, реприз, подборка сценических материалов…

Между тем Чехов, тогда студент, предназначал свое творение для сцены Малого театра, для Ермоловой. И лишь полвека спустя, с появлением кинематографа и так называемого «режиссерского» театра, стало выясняться, что это вовсе не беспомощно-детская, а новаторская пьеса, предвещавшая появление в искусстве новых форм.

Пьеса Малым театром принята не была, и Чехову, судя по всему, дали жестокий урок, о котором он помнил до конца жизни: «Этого свинства, которое со мной было сделано, забыть нельзя… Слишком много было тяжелого… Да знаете ли вы, как я начинал? Да и до сих пор…».[39]

Для истории литературы важно то, что пьеса была написана до появления в «малой прессе» юмористических рассказов и сценок Антоши Чехонте, важно как раз крушение юношеских надежд и иллюзий. Что схема постепенной художественной эволюции неверна, можно было бы, впрочем, догадываться и раньше. У большого художника не может быть «постепенной» судьбы. Невозможно «понемножку» стать Грибоедовым

[39] Примечания: 39

Из записных книжек В. С. Миролюбова // Литературное наследство. М., 1960. Т. 68. С. 520–521.

и Толстым. Здесь ничего не значат ни великое усердие, ни труд: «Надо чем-то быть, чтобы что-то сделать» (Гете).[40]

Нельзя сказать, что судьба Чехова не сложилась — просто она сложилась не сразу, она была отложена и на какое-то время прервалась, и, печатаясь в «Стрекозе» и «Осколках», Чехов сохранял нечто важнейшее для себя: «Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, Бог знает почему, берег и тщательно прятал» (Д. В. Григоровичу, 28 марта 1886 г.; П., 1, 218).

«Степной» замысел восходит к первоистокам творческой биографии Чехова; он появился задолго до «Егеря», очаровавшего Григоровича своей поэтичностью, до рассказа «Счастье», ставшего своеобразным введением к «Степи». В первой пьесе, работа над которой начиналась еще в Таганроге, есть «дорогие образы и картины» и эти мечты о деятельности, широкой, как степь: «Нам бы с тобой пустыню с витязями, нам бы с тобой богатырей с стопудовыми головами, с шипом, с посвистом!» (С., 11, 41). Есть здесь и разбойничьи легенды, и помещики, и купцы, и

[40] Примечания: 40

Эккерман И-П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. Ереван, 1988. С. 265.

даже корчмарь — правда, сильно разбогатевший, и яркий приазовский колорит, столь важный в замысле повести.

3

Прижизненная критика не связывала Чехова с традициями «малой прессы», понимая, что серьезных — да и вообще каких бы то ни было — традиций в этом окололитературном мирке просто не могло быть. Это уж в новые времена заговорили о «школе Лейкина», то поднимая «малую прессу» до чеховских высот, то опуская Чехова до тематических и стилевых низменностей юмористической журналистики.

«Я был сначала поражен Вашей неиспорченностью, потому что не знал школы хуже той, которую Вы проходили в „Новом времени“, „Осколках“ и проч. Потом понял, что иначе и не могло быть, — эта грязь не могла к Вам пристать», — писал Н. К. Михайловский Чехову 15 февраля 1888 г., прочитав «Степь» в корректурных листах.[41]

Ярчайшая особенность и своеобразие рассказов Антоши Чехонте заключены в том, что они

---

[41] Примечания: 41
Переписка А. П. Чехова. Т. 1. С. 378–379.

полемически заострены по отношению к тому заурядному фону, на котором печатались; они тяготеют к классической литературной традиции, в них множество обращений к слову Достоевского, Тургенева, Льва Толстого, парафраз из особенно любимого — и совершенно неуместного в юмористической журналистике — Шекспира. Здесь вообще много всякого рода переосмыслений, иносказаний, прямых и скрытых цитат, неожиданных и остроумных применений «старой» литературы, казалось бы, вышедшей из моды и пережившей себя, как теперь иному читателю представляется далеким от современной литературной моды и сам Чехов.

Высокой степенью литературности была отмечена уже первая пьеса, из которой можно извлечь целый словарь имен и цитат — от древнегреческих трагедиографов до Гете, Гейне, Ауэрбаха, Гоголя, Тургенева, Некрасова.

Проза и драматургия молодого Чехова погружены в контекст предшествующей литературы, цитатно соотнесены с классическим русским романом, с книгами, которые Чехов знал едва ли не наизусть, на которых учился — не только мастерству, но также терпению и надежде.

В этом отношении особенный интерес вызы-

вают описания природы, столь обычные в прозе молодого Чехова и столь неуместные не только в «Осколках», но даже и в «Петербургской газете», где появился «Егерь». Собственно, он-то, этот пейзаж, и тронул Григоровича, не ожидавшего увидеть на этих страницах ничего подобного, как удивил позднее и Левитана: «...я внимательно прочел еще раз твои „Пестрые рассказы“ и „В сумерках“ <...> пейзажи в них — это верх совершенства, например, в рассказе „Счастье“ картины степи, курганов, овец поразительны» (июнь 1891 г.).[42]

Чеховские описания природы обладали свойством, какого не было у Тургенева: этот одушевленный пейзаж, глубоко и сложно соотнесенный с жизнью персонажей, избавлял от описаний тривиальных конфликтов и драм, от литературной рутины. Замещая подобные описания, пейзаж становился пространным, как, например, в «Ведьме», в рассказе «На пути», в «Несчастье», во многих других рассказах ранней поры, производивших столь сильное впечатление на людей с хорошим вкусом.

Здесь важны не отдельные строки, не «при-

---

[42] Примечания: 42
Там же. С. 173.

меры», хотя бы и столь яркие, как, скажем, этот: «Река спала. Какой-то мягкий, махровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит» («Агафья», 1886. С., 5, 33). Важно все, и филолог, изучающий Чехова, здесь-то и сталкивается с трудностями, воистину непреодолимыми. Нет возможности ни исчерпать весь материал, ни ограничиться подборкой «примеров», ни тем более свести весь анализ к одному-единственному примеру. Выборочное цитирование в принципе бессистемно, в то время как при изучении Чехова по-настоящему важно, может быть, только одно: принцип системы, охватывающей весь материал.

Мир образов чеховской драматургии и прозы — образов, «рождающих мысль»… Кажущийся столь обыденно ясным, исполненный такой глубокой и в то же время обманчивой простоты, этот мир озадачивал и старшее поколение русских читателей — в лице того же, например, Н. К. Михайловского, и таких новаторов, каким предстал на рубеже столетий М. Горький. Беда еще и в том, что у литературной критики, а затем и у филологов той поры не было опыта в изучении художественных явлений, столь целостных в своем многообразии,

как не было и ясного представления о системе. А при сколько-нибудь углубленном изучении Чехова необходимо не только сплошное изучение материала, но понимание того, что сама традиция системно реализована в чеховском слове, ассоциативном, как бы помнящем о своем происхождении и часто указывающем на него с адресной точностью.

Одушевление природы — древний, если не древнейший прием, больше того — источник символов и метафор, первородный родник искусства, казавшийся новым, поскольку путь к нему в те времена был хорошо забыт. Чехов, таким образом, не столько создавал какие-то небывалые приемы письма, сколько возрождал к жизни истинные ценности искусства, обретавшие в его творчестве современную форму.

Но и самые одухотворенные пейзажи оставались бы не более чем стилевым украшением, если бы не имели основы в сюжете, который, как писал Чехов, «должен быть нов», в содержательных пластах повествования. В ранних рассказах они обычно сопутствуют персонажам, наделенным высокой духовностью, особой страстью к природе, с которой они — с охотничьим ли ружьем в руках или с удочкой — остаются наедине: «И Гос-

поди, что оно такое за удовольствие! Поймаешь налима или голавля какого-нибудь, так словно брата родного увидел» («Мечты», 1886. С., 5, 401).

Эти лица особенно привлекательны потому, что бескорыстны: герою рассказа «Агафья», например, важен не улов, важно перехитрить природу, поймав маленькую рыбку на большой крючок, или, того лучше, соловья без всяких силков и тенет, а голыми руками. Чехову, когда он писал эти рассказы, рисовались яркие, разносторонние, талантливые люди. Тот же рыболов оказывается, например, страстным читателем: «У другого какого человека только и есть удовольствия, что водка и горлобесие, а я, коли время есть, сяду в уголке и читаю книжечку. Читаю и все плачу, плачу…» («Мечты». С., 5, 398).

Это были очень разные люди (Лихарев из рассказа «На пути» не имеет ничего общего с Савкой из «Агафьи», с красавицей дьячихой из «Ведьмы»), связанные между собою лишь одной общей чертой: они, независимо от обстоятельств их земного бытия, неотторжимы от земли, от весен и зим, от рек и степных дорог, и, чтобы понять их, нужно читать страницы пейзажных описаний. Ночная вьюга, заметающая путь, столь же важна в рассказе «На пути», как и в «Ведьме».

В литературе действуют законы, подобные закону сохранения материи и энергии в мире физическом. Здесь ничто не беспочвенно, ничто не может возникнуть из ничего или в ничто обратиться. Так и чеховская «Степь» восходит не просто к нескольким ранним рассказам, к таганрогским окрестностям, к поэтическим впечатлениям детских и гимназических лет, но к историческим истокам бытия, к тем первоначальным художественным прообразам, которые наследуются из поколения в поколение и от которых не могут быть отлучены писатели, занимающие в литературе не случайное место.

Чехов писал Григоровичу 12 января 1888 г., рассказав о «Степи»:

«Я глубоко убежден, что пока на Руси существуют леса, овраги, летние ночи, пока еще кричат кулики и плачут чибисы, не забудут ни Вас, ни Тургенева, ни Толстого, как не забудут Гоголя. Вымрут и забудутся люди, которых Вы изображали, но Вы останетесь целы и невредимы. Такова Ваша сила и таково, значит, и счастье» (П., 2, 175).

4

Готовясь к работе над «Степью», Чехов уехал в родные края. Весною 1887 г. он путешествовал по

Приазовью, побывал в Таганроге, Новочеркасске, Рагозиной балке, Луганске, Святых Горах. А. С. Суворину 10 февраля 1887 г. он писал: «…чтобы не высохнуть, в конце марта уеду на юг, в Донскую область, в Воронежскую губернию <…> где встречу весну и возобновлю в памяти то, что уже начало тускнеть. Тогда, думаю, работа пойдет живее» (П., 2, 28).

В письме к родным говорилось: «Пахнет степью и слышно, как поют птицы. Вижу старых приятелей — коршунов, летающих над степью… Курганчики, водокачки, стройки — все знакомо и памятно <…> Хохлы, волы, коршуны, белые хаты, южные речки, ветви Донецкой дороги <…> — все это мелькает, как сон…» (7 апреля 1887 г. П., 2, 56–57).

Чехов был подвижен, легок на подъем; он очень мало похож на затворника, кабинетного, книжного человека. Страсть к путешествиям и странничеству были у него в крови.

Дорога, дорожные сюжеты, попутные встречи и впечатления, которые так важны и значительны (и так обычны) в творчестве Чехова — все это появлялось в постоянном движении и вечном общении с великим российским пространством.

«Видели ли Вы когда-нибудь большую доро-

гу? — спрашивал Чехов А. Н. Плещеева, закончив „Степь“. — Вот куда бы нам махнуть! Кресты до сих пор целы, но не та уже ширина; по соседству провели чугунку, и по дороге теперь почти некому ездить: мало-помалу порастает травой…» (9 февраля 1888 г. П., 2, 195).

Весенняя поездка по Приазовью отразилась в письмах, подробных, как дневник: путевые зарисовки чередовались здесь с воспоминаниями детства, и, как тому и следовало быть, новые впечатления мало походили на то, что сохранила память.

«Дивлюсь: как это мы могли жить в нем?!» — сказано в одном из писем о доме Селиванова, который казался в свое время просторным (П., 2, 58).

Чехов в этой поездке вспомнил детство, гимназию, все свое недавнее прошлое: «…как грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен Таганрог. Нет ни одной грамотной вывески, и есть даже „Трактир Расия“…» «Что отвратительно в Таганроге, так это вечно запираемые ставни» (П., 2, 60, 69). «Такая кругом Азия, что я просто глазам не верю.

60 000 жителей занимаются только тем, что едят, пьют, плодятся, а других интересов — никаких… Нет ни патриотов, ни дельцов, ни поэтов,

ни даже приличных булочников» (Н. А. Лейкину, 7 апреля 1887 г. П., 2, 54).

Радовала его только степь, курганы, дорога в степи, «старые приятели — коршуны».

Лишь по недоразумению, в силу простодушия или наивности можно было утверждать, что город, о котором так много сказано в драматургии и прозе Чехова — и до, и после «Степи», и в ней самой, — описывался «прямо с натуры», со всеми оттенками «местного колорита». В книге «Новая биография Антона Чехова» англичанин Рональд Хингли, весьма скептически читавший русские статьи и исследования о Чехове, без всякого юмора и почти слово в слово повторил критические замечания столетней давности: «Строго говоря, „Степь“ едва ли можно назвать рассказом. В ней нет сюжета, но лишь путевые впечатления от путешествия по украинской степи, какими они могли быть у девятилетнего мальчика».[43] И дальше: «В сравнении с более зрелыми произведениями этот ранний очерк — всего лишь цепь очаровательных эскизов».[44]

Подумать только: «всего лишь» очарование!

---

[43] Примечания: 43
Hingley R. A new life of Anton Chekhow. N.Y., 1976. P. 94.

[44] Примечания: 44
Там же. P. 97.

А Чехов лелеял дерзкую мечту показать этому мальчику его суровую, прекрасную родину, древнюю легендарную степь.

Довлеет дневи злоба его: кого же в России конца 1880-х годов могла заинтересовать степная глухомань и переживания провинциального мальчика? Были куда более злободневные, «больные» вопросы и темы, и Чехов знал это, как, впрочем, и то, что повесть его не будет правильно прочитана и понята — особенно в столицах, где живут тесно, не ведая степных просторов и того безлюдья и одиночества, в котором есть и своя поэзия, и своя печаль.

Прямые упоминания реального города, области, места у Чехова есть, но не в «Степи»:

«Помню, будучи еще гимназистом V или VI класса, я ехал с дедушкой из села Большой Крепкой, Донской области, в Ростов-на-Дону. День был августовский, знойный, томительно скучный. От жара и сухого, горячего ветра, гнавшего нам навстречу облака пыли, слипались глаза, сохло во рту; не хотелось ни глядеть, ни говорить, ни думать, и когда дремавший возница, хохол Карпо, замахиваясь на лошадь, хлестал меня кнутом по фуражке, я не протестовал, не издавал ни одного звука и только, очнувшись от полусна, уныло и

кротко поглядывал вдаль: не видать ли сквозь пыль деревни?» («Красавицы», 1888. С., 7, 159).

Критика уже в журнальном варианте повести обнаружила «местный колорит»: писали, что подразумевался какой-то губернский город на Волге и волжская степь. Это, конечно, удивило и, может быть, позабавило Чехова; первую строку «Степи» он изменил, обозначив название города и губернии не русскими, а латинскими буквами. Стало, как было у Гоголя: город N.

Как легко ошибиться в суждениях о литературе и как трудно бывает исправить ошибку, или невольное заблуждение, или простодушную нашу уверенность в том, что жизнь и описание жизни суть явления одного порядка! Чехов никогда ничего не писал непосредственно «с натуры»: «Мне нужно время, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично» (Ф. Д. Батюшкову, 15 декабря 1897 г. П., 7, 123).

В сопутствующих повести письмах действительно отразились воспоминания детства, автобиографические подробности и мотивы:

«В 1877 году я в дороге однажды заболел перитонитом (воспалением брюшины) и провел страдальческую ночь на постоялом дворе Мой-

сея Мойсеича», — писал Чехов А. Н. Плещееву 9 февраля 1888 г. (П., 2, 195). Письма адресны, у них свои сюжеты, стиль и тон, они в самом деле говорят нам о ярких впечатлениях от степи, отразившихся в повести: «У искренних поэтов даже, по-видимому, случайный образ имеет глубокое основание в личной жизни».[45] Но письма ничего не говорят о работе творческой памяти, отбиравшей из этих впечатлений то совершенно своеобразное поэтическое целое, которое получило название «Степь».

Что степь как таковая и чеховская «Степь» — вещи разные, должно быть так же понятно, как и то, что в повествовании, когда оно создавалось, двигались не обоз, не бричка по тракту, не коршуны над головой, а перо по бумаге, заполняемой тонким чеховским почерком. Чтобы записать о зарнице: «темнота мигнула веками», нужно быть художником и поэтом; Чехов о таких вещах говорил: «придумано и сделано».

Тот, кто вырос или хотя бы бывал в донских приазовских степях, кто видел их в июльские знойные дни, когда ветер пересыпает на проселках холмики пыли, похожей на черную пудру,

---

[45] Примечания: 45

Потебня А. Л. Из записок по теории словесности. М., 1976. С. 322.

и нигде ни кустика, ни цветка, ни единой зеленой травинки, тот знает, как безотрадна и непривлекательна в разгаре лета настоящая — «дочеховская» — степь. В повести вообще очень мало этнографии; ее поэтическая содержательность, жалоба ее трав, одиночество тополя, ее зарницы, грозы, дороги и великаны — из вечных истоков литературы, из сказок, легенд и мифов. В этом смысле можно сказать, что Чехов создал и саму степь: столь одушевленной, таинственной и прекрасной она была, может быть, только в полузабытых памятниках нашей словесности, дошедших до нас из незапамятных времен.

Да Чехов и писал свою повесть в надежде, что она напомнит читателю нечто важное, о чем не следует забывать.

Старшему из братьев Чеховых, Александру, мысль о «местном колорите» и в голову не приходила, хотя он, как и Антон, вырос в степи. Собираясь купить себе клочок земли, он писал: «Можно бы и под Таганрогом, но уж очень там безрадостно и голо. „Степь“ хороша в твоей книге, но отвратительна под этим градом, нас с тобою вскормившим» (25 ноября 1903 г.).[46]

---

[46] Примечания: 46

Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. М., 1939. С. 412.

Иной раз Чехов, по-видимому, сознательно упрощал вещи, стремясь к наглядности. Г. М. Чехову (двоюродному брату, сыну Митрофана Егоровича, бывшему приказчиком в небольшом торговом деле) он писал, например: «Главное действующее лицо у меня называется Егорушкой, а действие происходит на юге, недалеко от Таганрога» (9 февраля 1888 г. П., 2, 197).

Отсюда следовал географически достоверный маршрут: Егорушка, естественно, ехал из Таганрога в Ростов.

«Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквами; у подножия горы около товарных вагонов бегал локомотив...» — это и в самом деле похоже на старый Ростов; большая река, которую Егорушка увидел впервые в жизни, — Дон.

Но чтобы увидеть Ростов так, как сказано в повести, нужно двигаться к нему со стороны Батайска, переправляясь через реку по наплавному мосту с левого на правый берег. Обоз же, следуя реальной географии, двигался с противоположной стороны, и если бы Чехов руководствовался только ею, Егорушка, подъезжая к городу, не увидел бы ни громадной горы, ни реки, ни железной дороги с локомотивом. Перед ним на той же

степной равнине появились бы предместья Ростова, обоз пересек бы речушку Каменку и затем выехал на мощенный булыжником проспект, который в прежние времена так и назывался — Таганрогский.

География «Степи» — это обобщенная, вымышленная география; она подчинена основному замыслу — рассказу о переживаниях человека, впервые в жизни встретившегося лицом к лицу с «суровой, прекрасной Родиной».

Д. С. Лихачев проницательно заметил, что для русских понятие «свобода» неразлучно с представлением о пространстве: воля — это свобода, соединенная с пространством.[47]

Далекая, но по-своему важная и поучительная литературная ассоциация — Федя Протасов, слушая цыган, восклицает в «Живом трупе»: «Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля...»

5

Со «степным» замыслом должна быть соотнесена работа, которой Чехов увлеченно занимался в 1884 г., на последнем курсе университета, и к которой не раз возвращался позднее, в 1880-е

---

[47] Примечания: 47
См.: *Лихачев Д.* Заметки о русском. М., 1981. С. 8.

и 1890-е годы. Работа была необычайной для молодого врача: Чехов осваивал широкий круг духовных книг, источников и трудов по русской истории. Здесь более полутораста названий, в том числе летописи — Лаврентьевская, Троицкая, Псковские, Софийские.[48]

Библиографические материалы и обширные выписки хранились в подборке с пометой: «Врачебное дело в России. 1884, 1885». Их принято связывать с диссертацией по истории русской медицины, хотя сам Чехов писал о «докторском экзамене» (4 ноября 1884 г.). Если речь и в самом деле шла о диссертации, то замысел ее приходится признать весьма своеобразным: Чехов начинал с тех времен, когда ни врачебного дела, ни врачей в России не было. Все это едва ли соответствовало требованиям, предъявлявшимся к ученым трудам по истории медицины, но стало хорошим поводом для изучения древнерусских

[48] Примечания: 48

Летописи русской литературы и древности, издаваемые Николаем Тихонравовым. М., 1859–1863. Т. I–V; Полное собрание русских летописей. СПб., 1846, 1851. Т. I, V; «Домострой» (М., 1849); «Поучение Владимира Мономаха»; «Краткая церковная Российская история» митрополита Платона (М., 1805); История о великом княжестве Московском, происхождении великих русских князей, недавних смутах, произведенных там тремя Лжедимитриями, и о Московских законах, нравах, правлении, вере и обрядах, которую собрал и обнародовал Петр Петрей де Ерлезунда в Лейпциге 1620 года / Пер. с нем. А. Н. Шемякина. М., 1867; и т. д.

книг.

«В Гете рядом с поэтом прекрасно уживался естественник», — обронил как-то в письме Чехов. Не с теми ли же чертами эрудита, эмпирика, смелого аналитика и изящного тонкого художника выступает и Чехов в своем разнообразном творчестве <…> Не таким ли представлял себе Чехов и совершенного художника?[49]

В современных исследованиях — в частности, и в комментарии к «Врачебному делу в России» в академическом собрании сочинений — неизменно (и, кажется, вполне серьезно) отмечается, что Чехов не был профессиональным историком. Это, разумеется, так; не стоит лишь забывать, что он и в своих исторических увлечениях оставался профессиональным писателем, что содержательность и красота древнерусского слова имели для него большой художественный смысл. Даже если бы в итоге появились только удивительные словарные и стилевые находки из рассказа «Святою ночью» (1886) или исторические метафоры «Студента» (1894), то и в этом случае были бы вознаграждены сторицей все усилия и труды. Но чтение Карамзина, Устрялова и Ключевского, во-

[49] Примечания: 49

Бельчиков Н. Ф. Опыт научной работы Чехова // Чехов и его среда. Л., 1930. С. 133.

обще широкий исторический кругозор позволяли Чехову, как он однажды заметил, не чувствовать себя чужим там, где нужны были специальные знания, и ярко, с какой-то почти живописной красочностью представлять себе древнюю Русь среди ее бед и пожарищ:

«… страшный шум, лязганье, крики на каком-то непонятном, точно бы калмыцком языке; и какая-то деревня, вся охваченная пламенем, и соседние леса, покрытые инеем и нежно-розовые от пожара, видны далеко кругом и так ясно, что можно различить каждую елочку; какие-то дикие люди, конные и пешие, носятся по деревне, их лошади и они сами так же багровы, как зарево на небе.

„Это половцы“, — думает Ярцев.

Один из них — старый, страшный… весь обожженный — привязывает к седлу молодую девушку с белым русским лицом. Старик о чем-то неистово кричит, а девушка смотрит печально, умно…» («Три года», 1895. С., 9, 71).

Не только среди современников Чехова, но и во всей нашей литературе трудно назвать писателя, который в столь ранние годы обладал бы такой широкой начитанностью и такой склонностью к изучению исторических источников и отече-

ственной старины.

У Чехова не было страсти к собиранию чего бы то ни было — коллекций, рукописей, книг; тем не менее в его личной библиотеке хранилось первое издание «Слова о полку Игореве» — в одном переплете с «Поучением Владимира Мономаха». А. С. Суворину он советовал: «Издайте „Поучение Владимира Мономаха“. Томик „Дешевой библиотеки“ с двумя текстами — славянским и русским, а в конце примечания. Издайте и „Слово о полку Игореве“ <…> Издайте „Домострой“» (11 апреля 1889 г. П., 3, 190).

Этот круг чтения, в котором заметное место заняли классические собрания русского фольклора (П. В. Киреевский, А. Н. Афанасьев, И. М. Снегирев, П. А. Бессонов, М. Забылин), должен был отразиться в поэтических мотивах и образах «Степи».[50] Но Чехов находил здесь не только созвучные его замыслу настроения, но часто и нужные сведения, тональности, краски. О степных курганах, о каменных идолах, поставленных неведомо кем и когда, он читал, например, в «Изъяснении о некоторых древностях, в могилах найденных» («Ежемесячные сочинения 1764

[50] Примечания: 50

Навроцкий Б. Л. Фольклорные мотивы в творчестве А. П. Чехова // А. П. Чехов и наш край. С. 90–114.

года»): «Древние могилы, кои находят в южных странах России и Сибири, различного бывают виду, хотя большая часть оных вероятным образом происходит от одного народа… Находятся сии могилы нигде больше, как в равных степях, бывших обитаемых народом, которого процитание в скотоводстве и звериной ловле, кажется, состояло…» Здесь же упоминалась женская фигура «из пещаного камня грубой обделки, а голова отбита и не найдена… Такие же статуи находятся нередко стоящие в степи, между Доном, Донцом, Украинскою линиею и Азовским морем» — т. е. в тех краях, у той дороги, по которой и ехал Егорушка.

Маленькая проповедь о пользе учения, которую отец Христофор произносит перед Егорушкой, находит соответствия в тексте «Краткой церковной российской истории» митрополита Платона. Чехову была важна в данном случае словарная достоверность, и, как он впоследствии скажет, он стремился писать, сообразуясь с научными данными везде, где это было возможно, или же предпочитал не писать вовсе.

«Древнерусские жанры были хорошо „организованы“ в том отношении, что они обычно декларативно обозначались в самих названиях произведений», — отмечал Д. С. Лихачев в своей

«Поэтике древнерусской литературы». И далее, подробнейшим образом проиллюстрировав это положение, писал: «Название жанра выставлялось в заглавии... очевидно, под влиянием некоторых особенностей самого художественного метода древнерусской литературы... Те или иные традиционные формулы, жанры, темы, мотивы, сюжеты служили сигналами для создания у читателя определенного настроения... „повесть преславна“, „повесть умильна“, „повесть полезна“, „повесть благополезна“, „повесть душеполезна“ и „зело душеполезна“, „повесть дивна“, „повесть дивна и страшна“, „повесть изрядна“, „повесть известна“, „повесть известна и удивлению достойна“, „повесть страшна“, „повесть чюдна“, „повесть утешная“, „повесть слезная“...».[51]

Само же слово «повесть», по-видимому, не имело в старину того значения, какое приобретало со временем; поскольку ни романа, ни рассказа в древнерусской литературе не было, оно имело примерно тот же смысл, что и «повествование» в современном языке: «Повесть временных лет», «Повесть о разорении Рязани Батыем», но также

---

[51] Примечания: 51

Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 58–59.

«…Не лепо ли ны бяшет, братие, начата старыми словесы трудных повестий о полку Игореве…», и «Хождение за три моря Афанасия Никитина» — все это при различиях формы и содержания прежде всего повествование или рассказ об исторически достоверных событиях, нанизываемых на сюжетную нить дороги, опасного пути в чужедальние края.

В этом плане интересна непроизвольная, но, конечно, далеко не случайная ассоциация, возникшая у Н. К. Михайловского при первом же чтении «Степи»: «Читая, я точно видел силача, который идет по дороге, сам не зная куда и зачем, так, кости разминает, и, не сознавая своей огромной силы, просто не думая об ней, то росточек сорвет, то дерево с корнем вырвет…».[52]

В литературе нового времени — и, быть может, особенно времени Чехова — разнообразие повествовательных жанров привело к их смешению, к невозможности отличить рассказ от повести, и повесть от романа: «…современная литература наводнена не только романами, но и „повестями“, „рассказами“, „новеллами“, причем иная новелла — как будто роман, тогда как

[52] Примечания: 52
Переписка А. П. Чехова. Т. 1. С. 378.

другому роману лучше бы называться новеллой, повестью».[53]

О жанровой междоусобице, разделившей в литературе нового времени повесть, рассказ и роман, писал и Н. С. Лесков:

«…В наше время — критического бессмыслия в понятиях самих писателей о форме их произведений, воцарился невообразимый хаос. „Хочу, назову романом, хочу, назову повестью — так и будет“. И они думают, что это так и есть, как они назвали. Между тем, конечно, это не так <…> Писатель, который понял бы настоящим образом разницу романа от повести, очерка или рассказа, понял бы также, что в сих трех последних формах он может быть *только* рисовальщиком, с известным запасом вкуса, умения и знаний; а, затевая ткань романа, он должен быть еще и мыслитель, должен показать живые создания своей фантазии в отношении их к данному времени, среде и состоянию науки, искусства и весьма часто политики. Другими словами, если я не совсем бестолково говорю, у романа <…> не может быть отнято некоторое, — не скажу „поучительное“, а

[53] Примечания: 53

Веселовский А. Н. История или теория романа? // Веселовский А. Н. Избранные статьи. Л., 1939. С. 20.

толковое, разъясняющее смысл значение».[54]

Чехов назвал свою повесть «степной энциклопедией»; можно сказать, что ей свойственна и своеобразная жанровая энциклопедичность. Определение жанра, как это бывало в древнейших памятниках, дано в ее заглавии: «Степь» — это «история одной поездки», настолько, впрочем, медлительной, рассказанной с такой неторопливостью, что вполне уместным представляется слово «хождение» (да оно, вероятно, и подразумевалось в этом повествовании о степной дороге, где столько прохожих и столько встреч, где повторяются, как припев, слова: «Ох, ножки мои больные, стуженые...»).

С образом отца Христофора связана жанровая линия поучения, «слова», потребовавшая, кстати говоря, довольно сложного комментария.

«Степь», в которой так много древних образов и мотивов — мифологических, былинных, песенных, сказочных, — могла стать и первой частью романа, если Чехов и в самом деле решился бы продолжить «историю Егорушки» в том духе, о котором ему настойчиво писали Плещеев и Григорович.

---

[54] Примечания: 54

Н. С. Лесков — Ф. И. Буслаеву, 1 июня 1877 г. // Лесков Н. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 10. С. 450.

6

На протяжении десятилетий «Степь» читалась как фрагмент несостоявшегося романа. Толстой в 1894 г. говорил: «„Степь“ — прелесть! Описания природы прекрасны. Рассказ этот представляется мне началом большого биографического романа, и я удивляюсь, почему Чехов не напишет его» («Воспоминания» Г. А. Русанова). Отсюда, казалось, и проистекают ее своеобразие, ее «отрывочность» и прочие мнимые несовершенства.

«Истинная идейная позиция автора в повести осталась критиками неразгаданной, — писал С. Д. Балухатый. — Действительно, в напечатанной части <…> Чехов не успел или не хотел еще выделить и заострить внимание читателя на стержневой, руководящей идее своего произведения. Но, по замыслу Чехова, „Степь“ должна была явиться лишь вступлением, первой частью обширной эпопеи о современной русской жизни».[55]

Так сложилась концепция незавершенного романа («эпопеи») — концепция, которую правильнее было бы назвать литературоведческой

---

[55] Примечания: 55
А. П. Чехов и наш край. С. 141.

легендой, хотя определенные реальные основания для нее в чеховских письмах есть.

В переписке с Плещеевым и особенно с Григоровичем обсуждались возможности продолжения «истории Егорушки»: «Между прочим, я писал в своем письме о Вашем сюжете — самоубийстве 17-летнего мальчика. Я сделал слабую попытку воспользоваться им. В своей „Степи“ через все восемь глав я провожу девятилетнего мальчика, который, попав в будущем в Питер или в Москву, кончит непременно плохим. Если „Степь“ будет иметь хоть маленький успех, то я буду продолжать ее. Я нарочно писал ее так, чтобы она давала впечатление незаконченного труда. Она, как Вы увидите, похожа на первую часть большой повести» (Д. В. Григоровичу, 5 февраля 1888 г. П., 2, 190).

Здесь правильнее было бы говорить об эпопее, поскольку история Егорушки, если бы Чехов продолжал ее так же медлительно и подробно, как начал, растянулась бы на десятки печатных листов: в итоге должно было получиться нечто похожее на «Историю моего современника» Короленко. Поэтому Чехов и не употребил здесь слово «роман», одновременно и обязывающее, и неопределенное.

Какой-то роман, о котором говорилось в письме к Плещееву 9 февраля 1888 г., существовал; начат он был до «Степи» (по-видимому, задолго до нее и до поездки в родные края весной 1887 г.) и затем отложен: «Ах, если бы Вы знали, какой сюжет для романа сидит в моей башке! Какие чудные женщины! Какие похороны, какие свадьбы! Если б деньги, я удрал бы в Крым, сел бы там под кипарис и написал бы роман в 1–2 месяца. У меня уже готовы три листа, можете себе представить!» (П., 2, 195).

Вероятно, этот материал в дальнейшем пригодился Чехову и, быть может, вошел в одну из повестей послесахалинской поры, если не растворился в нескольких рассказах и повестях; здесь достаточно отметить, что к «Степи» он отношения не имел. «Что касается Егорушки, то продолжать его я буду, но не теперь», — сказано в том же письме.

Григорович, Плещеев, Полонский, в переписке с которыми Чехов обсуждал своеобразные трудности «степного» повествования, олицетворяли в его глазах те памятные времена, когда «вся наша литература превратилась в роман и повесть», когда было создано все в этом роде лучшее, навсегда оставшееся в истории. При них формировался

не только роман, но вся подчиненная ему жанровая иерархия русской прозы. Чехов был для них не только младшим — совсем еще молодым — современником, он к тому же еще и работал в «младших» жанрах, т. е., на взгляд Плещеева и особенно Григоровича, растрачивал свой талант понапрасну. Отсюда стремление не просто помочь Чехову пробиться в «толстые» журналы (это было в их силах, у них были имена и большое влияние), но, главное, наставить его на истинный путь, ведущий к большому роману. Григорович был в этом отношении особенно настойчив: в конце концов, писал он Чехову, роман — это те же 10–15 рассказов, весь труд в том, чтобы связать их «общим интересом, общими лицами <…> последующие главы приходят как бы сами собою — конец катится всегда как по маслу…».[56]

Так сороковые годы — время позднего Гоголя и Достоевского — влияли на судьбу «восьмидесятника» Чехова, воспитывая в нем чувство традиции, поддерживая преемственность литературных поколений, разделенных полувековой межой. Полонский, может быть, яснее других понимал эту связь, когда, обращаясь к Чехову,

---

[56] Примечания: 56
Переписка А. П. Чехова. Т. 1. С. 286.

заметил: «Вы <...> написали мне такое лестное письмо, что я оставлю его в наследие моему потомству — авось какой-нибудь внук мой прочтет его и скажет — Еге! Даже Чехов и тот признавал в некотором роде талант моего дедушки!» (17 февраля 1888 г.).[57]

Сюжет о самоубийстве 17-летнего гимназиста, обсуждавшийся в переписке Чехова и Григоровича, имеет свою предысторию; эта предыстория, любопытная сама по себе, дает возможность понять, как глубоко отличались «век нынешний и век минувший» во взглядах на литературу и жизнь.

Сюжет Григоровича заключал в себе, как представлялось старому писателю, далеко не новый и по-прежнему больной вопрос русской общественной жизни. Чехов писал ему: «На измучивший всех вопрос нужен и мучительно-сильный ответ, а хватит ли у нашего брата внутреннего содержания? Нет. Обещая успех этой теме, Вы судите по себе, но ведь у людей Вашего поколения, кроме таланта, есть эрудиция, школа, фосфор и железо, а у современных талантов нет ничего подобного, и, откровенно говоря, надо радоваться, что они

---

[57] Примечания: 57
Слово. Сб. 2. М., 1914. С. 229.

не трогают серьезных вопросов. Дайте Вы им Вашего мальчика, и я уверен, что *X*, сам того не сознавая, от чистого сердца наклевещет, налжет и скощунствует, *Y* подпустит мелкую, бледную тенденцию, а *Z* объяснит самоубийство психозом. Ваш мальчик — натура чистенькая, милая, ищущая Бога, любящая, чуткая сердцем и глубоко оскорбленная. Чтобы овладеть таким лицом, надо самому уметь страдать, современные же певцы умеют только ныть и хныкать. Что же касается меня, то, помимо всего сказанного, я еще вял и ленив» (12 января 1888 г. П., 2, 174).

Довольно скоро Чехов напишет нечто подобное А. С. Суворину, и со временем это его письмо будет использоваться как свидетельство неуверенности в себе и какой-то незавершенности призвания и судьбы.

Поскольку и неуверенность в себе, и колебания действительно были, важно проследить их от самых истоков.

А в истоках своих сюжет, предложенный Григоровичем, восходит к Достоевскому.

«Мой самоубийца есть именно страстный выразитель своей идеи, то есть необходимости самоубийства <…> Он действительно страдает и мучается <…> Беда единственно лишь в потере

веры в бессмертие». «… Только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. Без убеждения же в своем бессмертии связи человека с землей порываются, становятся тоньше, гнилее, а потеря высшего смысла жизни (ощущаемая хотя бы лишь в виде самой бессознательной тоски) несомненно ведет за собою самоубийство».[58]

«Страдание тут очевидное, и умерла она непременно от духовной тоски и много мучившись. Чем она успела так измучиться в 17 лет? Но в этом-то и страшный вопрос века».[59]

Собственно, из «Дневника писателя» за 1876 г., из заметок Достоевского «Кое-что о молодежи», «О самоубийстве и о высокомерии», «Анекдот из детской жизни» возникла и вся проблема в целом, и такие детали и частности, как возраст героя (как раз 17 лет), и близкие текстуальные соответствия с Достоевским.

Таким образом, в романе о юном самоубийце нужно было дать широкую картину русской общественной жизни, картину нравов, образы молодых русских людей, утративших доверие к

---

[58] Примечания: 58
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1982. Т. 24. С. 48, 49.

[59] Примечания: 59
Там же. С. 54.

жизни, а вместе с ним и желание жить, а главное (по крайней мере, это было главным для Достоевского) — утративших веру своих отцов, веру самого Достоевского, опору, какую он находил в церкви и в молитве. Во избежание весьма грубых и, к несчастью, традиционных ошибок не следует забывать, что в глазах старшего поколения русских литераторов никакая идейность не имела смысла, если в ее основе не было верования, в то время как для Чехова мировоззрение и вера — вещи не только разные, но едва ли вполне совместимые.

«Русская жизнь, — писал Чехов незадолго до „Степи“, — представляет из себя непрерывный ряд верований и увлечений, а неверия или отрицания она еще, ежели желаете знать, и не нюхала. Если русский человек не верит в Бога, то это значит, что он верует во что-нибудь другое» («На пути». 1886. С., 5, 468).

Тем не менее сам Достоевский, по-видимому, лучше других понял бы Чехова, его степную «дорогу конем» и его Егорушку.

«Если хотите всю мою мысль, то, по-моему, дети, настоящие то есть дети, то есть дети людей, должны родиться на земле, а не на мостовой. Можно жить потом на мостовой, но родиться и

всходить нация, в огромном большинстве своем, должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут».[60]

В середине 1880-х годов много писали об истощении лесов и родников, о пересыхающих речках, о разорении берложек и гнезд — «богоданных жилищ» зверей, птиц и насекомых. Было ясно, что в скором будущем дикие животные станут редкостью, а иные из них и вовсе исчезнут с лица земли, оставив след в одной лишь естественной истории. Писали о стремительно нарастающей, вредоносной скорости жизни, о не подвластном никакому контролю и ограничениям развитии промышленности и железных дорог: век электричества и воздухоплавания был не за горами.

Чехов видел, как возникали и набирали силу перемены, которые в конце концов привели к современной НТР. Но все это видел не он один, и не он был здесь первым. Прямой предтеча его, Достоевский, писал в «Подростке»: «Нынче безлесят Россию, истощают в ней почву, обращают в степь и приготовляют ее для калмыков. Явись человек с надеждой и посади дерево — все засмеются:

---

[60] Примечания: 60
Там же. Т. 23. С. 96.

„Разве ты до него доживешь?“ С другой стороны, желающие добра толкуют о том, что будет через тысячу лет. Скрепляющая идея совсем пропала».[61] Многое в чеховском творчестве восходит к этому художественному зерну, к этому предельно сжатому, бесконечно содержательному конспекту. Здесь не только экологическая карта доктора Астрова и все, что в драматургии и прозе Чехова сказано о вырубленных лесах и пересыхающих реках, об одиноких чудаках, упрямо сажающих свои березки, и о людях с размахом, сводящих под корень старые вишневые сады. Здесь все мечты Астрова, Вершинина и Тузенбаха о жизни, которая будет прекрасной через двести, или триста, или тысячу лет, вся тоска по утраченной «общей идее». Это близко не просто по смыслу, нет — это подчеркнуто близко по словарю, это написано так, чтобы у читателя и сомнений не возникало относительно первоисточника.

«Про дороги прежние, про дороги „конем“, как выразился недавно один мужичок, мы, жители столиц, стали совсем забывать. А должно быть, и на них теперь можно встретить много нового против прежних порядков. Я, по крайней мере,

---

[61] Примечания: 61
Там же. Т. 13. С. 54.

слышал много любопытного от рассказчиков, и так как повсеместным будто бы разбойникам я все-таки не верю вполне, то и собираюсь чуть не каждое лето проехаться куда-нибудь поглубже, по прежним дорогам, для собственного назидания и поучения».[62]

Свою собственную трактовку старого сюжета Чехов дал в письме к Григоровичу 5 февраля 1888 г. Письмо цитировалось по разным поводам и в разных контекстах множество раз, к нему привыкли, и чтобы понять, как далек был от своих предтеч этот молодой писатель, нужно с особенным вниманием перечитывать текст. Суть дела в том, что Григорович, улавливая родовое сходство, упускал из виду различия: Чехов понимал вещи не так, как понимали их старые романисты.

«Самоубийство Вашего русского юноши, по моему мнению, есть явление, Европе не знакомое <…> Оно составляет результат страшной борьбы, возможной только в России» (один лишь этот перенос всей проблемы на чисто русскую национально-историческую основу, вероятно, озадачивал старого писателя, начинавшего свой путь в некрасовском «Современнике», во време-

[62] Примечания: 62

Достоевский Ф. М. Маленькие картинки (в дороге) // Там же. Т. 21. С. 159.

на славянофилов и западников). «Вся энергия художника должна быть обращена на две силы: человек и природа» (слова, которые могли бы стать эпиграфом ко всему творчеству Чехова, но не могут быть применены ни к одному из классических русских романов: герой и общество, герой и среда — вот традиционная коллизия и привычный драматический конфликт; «человек и природа» — это скорее лирическое отступление или развязка романа, а никак не его ведущий мотив). «С одной стороны, физическая слабость, нервность, ранняя половая зрелость, страстная жажда жизни и правды, мечты о широкой, как степь, деятельности, беспокойный анализ, бедность знаний рядом с широким полетом мысли; с другой — необъятная равнина, суровый климат, серый, суровый народ со своей тяжелой, холодной историей» (здесь чуть ли не в каждом слове новые подходы к теме, либо сторонние русскому роману, либо совершенно чуждые ему); «татарщина, чиновничество, бедность, невежество, сырость столиц, славянская апатия и проч… Русская жизнь бьет русского человека так, что мокрого места не остается, бьет на манер тысячепудового камня. В Западной Европе люди погибают оттого, что жить тесно и душно, у нас же оттого,

что жить просторно… Простора так много, что маленькому человеку нет сил ориентироваться» (у Чехова было какое-то особое, быть может, ему одному свойственное чувство великих российских пространств, соединенное с редкой для россиянина страстью к путешествиям, «охотой к перемене мест», и единственная в своем роде способность олицетворять эти пространства и описывать их, посвящая целые страницы травам, деревьям, цветам, каким-то необыкновенным вьюгам, вдохновившим Рахманинова, — он написал симфоническую фантазию по рассказу «На пути», который и сам по себе воспринимается как симфония вьюг и метелей. И сколько различий с Тургеневым, который не любил и не описывал зиму, — только летний охотничий сезон, как будто и в самом деле держал свои пейзажи на прицеле двустволки). «Вот что я думаю о русских самоубийцах… Так ли я Вас понял? Впрочем, об этом говорить в письме невозможно, потому что тесно. Эта тема хороша для разговора» (П., 2, 190).

Чехов, таким образом, писал Григоровичу о широком психологическом спектре, о целом комплексе причин, среди которых, конечно, заняла свое место и социальная сторона жизни, самая важная для старого писателя, для классического

русского романа, едва ли не для всей литературы дочеховской поры. И ни слова о безверии, безбожии и т. д., что в конце концов привело к тому, что Чехов был объявлен атеистом, хотя от истины это было весьма далеко…

Григорович, по-видимому, надеялся на создание романа в традиционном социально-психологическом ключе, хорошо освоенном в его время. Чеховская же программа была несравненно шире: в этом перечислении причин, начиная от самых обыденных, интимно-личных, до отдаленных исторических ретроспектив, до генетической памяти, в самом деле отягощенной тем, что у Чехова названо татарщиной, до бесконечных российских зим и непогожих осенних дней и ночей, заключен не один, пусть даже и многотомный, роман, а в точнейшем смысле этого слова «энциклопедия русской жизни», в которой есть и пушкинская поэтичность, и романтическое разочарование, и то, о чем позднее скажет Заречная: «Груба жизнь!», и много, много еще…

Этот чеховский молодой человек, этот повзрослевший Егорушка должен был столкнуться не с гимназическим учителем, пусть даже и таким страшным, как Беликов, даже не с условиями российской действительности или «средой», о ко-

торой так привычно было говорить «среда заела», а прежде всего с самим собой, с наследственными конфликтами собственной души, с тем, о чем говорили: «Что ж, таков его удел», «такова судьба, ничего не попишешь…»

Возможно, Чехову представлялся не отдельный сюжет или определенная книга, но скорее существенно новая универсальная концепция повествования о жизни, включавшая в себя, в частности, такие неожиданные планы и мотивы, как губящий человека бескрайний простор, в котором так легко затеряться и так трудно себя найти, т. е., очевидно, не только реальные горизонты русской земли, но также метафорические пространства российской истории, среди которых блуждают знаменитые персонажи позднего Чехова — Иван Великопольский («Студент»), преосвященный Петр («Архиерей»), барон Тузенбах («Три сестры». 1900). И можно приводить иные имена иных лиц, ранних и поздних, сохраняющих тем не менее очевидное родовое сходство с Егорушкой, который первым столкнулся со степью, с тайными, темными ощущениями пережитого до него, с тем «генетическим пространством души», что заложено в каждом из нас от рождения.

Это был бы совсем другой роман, едва ли понятный Григоровичу, и в основе его конфликтов лежали бы мифы русской истории и русской совести, мифы роковой неоплатной вины. Вскоре Чехов напишет, объясняя характер Иванова: «… неопределенное чувство вины <…> чувство русское. Русский человек — умер ли у него кто-нибудь в доме, заболел ли, должен ли он кому-нибудь, или сам дает взаймы — всегда чувствует себя виноватым <…> К утомлению, скуке и чувству вины прибавьте еще одного врага. Это — одиночество…» (А. С. Суворину, 30 декабря 1888 г. — П., 3, 110–111).

Какие бы планы ни возникали у Чехова, пока он работал над «Степью» и думал о ее продолжении, написал он то, что хотел написать — повесть с открытым финалом, к которому трудно было что-либо добавить:

«Какова-то будет эта жизнь?»

7

В одном из писем Чехов заметил, что вторгается со своей степью во владения Гоголя: «В нашей литературе он степной царь» (П., 2, 190).

Первая страница «Степи» соотнесена с началом «Мертвых душ» столь откровенно, что о случай-

ном совпадении не приходится и думать. Чехов, конечно, стремился подчеркнуть преемственность и традицию, как бы посвящая «Степь» памяти Гоголя. «В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки, отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, которых называют господами средней руки».[63] «Из N., уездного города Z-ой губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная, ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники».

Степная дорога — сюжет в полном смысле этого слова исторический, сюжет без начала и конца, с простором для «дорогих образов и картин», с остановками для подробного описания характеров, нравов и встречных лиц: «Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и

[63] Примечания: 63
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Л., 1951. Т. 6. С. 7.

спасала!»[64]

Обращаясь к слову Гоголя или упоминая его имя в тексте, Чехов отмечал и связь, и контраст времен. «Гоголевский Петрушка давно уже читает», — скажет позднее герой «Дома с мезонином».

В «Степи» и связанных с нею рассказах появились новые характеры, а с ними — черты, звуки и образы новой жизни: грохот сорвавшейся в шахте бадьи, варламовские отары овец и на том горизонте, где у Гоголя «по небу, изголуба-темному, как будто исполинскою кистью, наляпаны были широкие полосы из розового золота»,[65] — дым проходящего поезда.

Наконец, сама степь, дикая и свободная вольница — «куда оно все девалось? <…> тут и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева — туча-тучей <…> Пошли прахом и орлы, и соколы, и филины <…> а новое не растет» («Свирель», 1887. С., 6, 323–324).

Связь и контраст с Гоголем — а для Чехова он прежде всего мастер, поэт и стилист — ощущается в описаниях степного царства, монументально-живописного в «Тарасе Бульбе» и лириче-

---

[64] Примечания: 64
Там же. С. 222.

[65] Примечания: 65
Гоголь Н. В. Тарас Бульба // Там же. Т. 2. С. 59.

ски-задумчивого в «Степи». Степные пейзажи Гоголя просторны и многокрасочны, степь у него — зелено-золотой океан, по которому брызнули миллионом соцветий; сами названия трав и цветов тщательно подобраны, ярко-декоративны: «Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный Бог весть откуда колос пшеницы наливался в гуще».[66]

Цветовая насыщенность гоголевского слова и его контрастность так сильны, что временами фраза производит впечатление вспышки: «Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летели по темному небу».[67]

У Чехова важнее звучание слова, его тональность и лад; в его описаниях несравненно меньше

---

[66] Примечания: 66
Там же.

[67] Примечания: 67
Там же. С. 60.

колоритных названий — «сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля, — все побуревшее от зноя...»; но тем больше в них олицетворений и звуков: «... это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая... убеждала кого-то, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой...»

Эта поэтическая стилистика, казавшаяся современникам столь необычной и новой, обращена к древним пластам художественного сознания; она пробуждает в памяти нечто бесконечно знакомое: «ничить трава жалощами, а древо с тугою к земле преклонилось...» («Слово о полку Игореве»).

Все, что у Гоголя дано живописно и в психологическом плане нейтрально, у Чехова олицетворено.

«Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха» («Тарас Бульба»).

«Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни...» («Степь»). Коростель здесь «не понимает, в чем дело», встревоженные чибисы плачут и жалуются на судьбу — «для кого они кричат и кто их

слушает на этой равнине, Бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы…»

Костер, порождавший в «Тарасе Бульбе» сложную игру багрянца и тьмы, в «Степи» становится почти живым существом: «от костра осталось… два маленьких красных глаза…»

Чехов сохранил лишь один из повествовательных приемов Гоголя — гиперболическую дальнозоркость, позволявшую раздвинуть пространство и отчетливо различать и описывать подробности, недоступные реальному зрению.

Так, в черной точке, мелькнувшей на горизонте «Тараса Бульбы», прорисовываются черты татарина: «маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои…».[68] Так Егорушка в подобной же черной точке различает, как два перекати-поле «столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке».

Но и в данном случае у Гоголя получился портрет; у Чехова же — олицетворение и метафора, навеянная былинами и сказаниями, почти такими же древними, как сама степь.

Утверждая, что все большие повести Чехова

---

[68] Примечания: 68
Там же. С. 60.

«страдают отсутствием органической целостности и часто представляют лишь группу мелких рассказов», что в этом смысле Чехов «едва ли не конченый человек», один из критиков завершил свой отзыв строкой Белинского о Гоголе, припомнившейся как бы непроизвольно: «Черт вас побери, степи! Как вы хороши у Чехова».[69]

В «Степи» нет столь откровенных, как во многих других случаях, обращений к слову или имени Гоголя; ее стилистика скорее контрастирует, чем соотносится с эпическим и живописным стилем «Тараса Бульбы». Но начитанность и память, на которые и рассчитывал Чехов, безошибочно вели читателя к гоголевскому степному царству…

Лишь рецензенты, совершенно лишенные поэтического слуха и чутья, восприняли «Степь» как повесть этнографическую (позднее — даже и как краеведческую!).

«Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги… Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли.

---

[69] Примечания: 69

Перцов П. Изъяны творчества: Повести и рассказы А. Чехова // А. П. Чехов. Сб. историко-литературных статей / Сост. В. И. Покровский. М., 1907. С. 947–948. У Белинского в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя»: «Черт вас возьми, степи, как вы хороши у г. Гоголя!..» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953. Т. 1. С. 307).

Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно».

Вместо делового почтового тракта, по которому в начале повести выехала из города N. бричка, появилась метафора древнего пути из конца в конец степного пространства, созданного для громадных, широко шагающих людей, для былинных фигур: «И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали». Возник острый поэтический контраст, то основное для Чехова содержательное противоречие, которое будет развиваться в драматургии и прозе зрелых лет.

Сопоставление противоположностей, художественное противоречие и контраст — определяющая черта поэтики «Степи».

Вдоль сказочной степной дороги, на которой уместились бы шесть колесниц, какие Егорушка видел на страницах Священной истории, поставлены телеграфные столбы, «похожие на карандаши, воткнутые в землю».

Великое и малое контрастирует в образах персонажей повести: степь, олицетворяющая свободу и волю, очевидно, никому не может принадлежать, у нее нет и не должно быть хозяина. Между тем все, что лежит по эту сторону ее гори-

зонта, и, как в свое время показывал Ноздрев, все, что находится по ту сторону, принадлежит Варламову, который оказывается не властелином, какие бывают в страшных сказках, а «малорослым серым человечком».

Фантастические, сказочные образы, богатыри, которые видятся герою в грозовую ночь, соотнесены с портретами возчиков и встречных: «… красные уши… торчали, как два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своем месте»; «Лицо у него было подвязано тряпкой и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки; одет он был в короткую хохлацкую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары навыпуск, а обут в лапти».

В портретных зарисовках «Степи» словно бы подразумеваются разрозненные черты метафорических гоголевских портретов. Так, господин в церкви напоминает Ивана Ивановича: «От избытка достоинства <…> подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и полететь вверх» (гл. V).

По-своему противоречив, наконец, лирический мотив детства в бесконечном и вневременном пространстве степи.

Пронзительно-тоскливая чеховская песня, которую, кажется Егорушке, поет сама степь, — был ли у нее литературный источник, некий неразысканный нами родник?

«Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня; потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя…»

Эта знаменитая страница восходит к Гоголю.

«Я до сих пор не могу выносить тех заунывных, раздирающих звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам <…> Кому при взгляде на эти пустынные, доселе не заселенные и бесприютные пространства не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому, именно ему самому, тот или уже весь исполнил свой долг, как

следует, или же он не русский в душе».[70]

Писатель обращается к опыту предшественников не только в годы ученичества, когда соразмеряются силы, формируется направление и в своеобразном жанре юношеских подражаний складывается его стиль. В пору расцвета и зрелости эта соотнесенность с прошлым становится несравненно более тонкой и сложной, но и более наследственной и важной для него. Жизненный материал литературы, мир ее прообразов, конфликтов и тем, в особенности же ее язык меняются постепенно и переходят к новому поколению в своей исторической сохранности. В конце концов, чем самобытнее художник, тем глубже и очевиднее его связь с предшествующим художественным опытом и классической литературной традицией.

«Преемник воспитывается не только итогами мысли предков, извлекаемыми из общения с людьми (мыслями, как говорится, носящимися в воздухе, никому в частности не принадлежащими), но и произведениями прежних веков, слагаемыми этих итогов, взятыми порознь, произведениями современников и предшествен-

---

[70] Примечания: 70
Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 8. С. 289.

ников в их особенности. Чем богаче прошедшее литературы и обширнее пользование им, тем при равенстве прочего разнообразнее могут быть новые произведения».[71]

8

Закончив «Степь», Чехов писал: «Давно уже в толстых журналах не было таких повестей; выступаю я оригинально, но за оригинальность мне достанется так же, как за „Иванова“. Разговоров будет много» (М. В. Киселевой, 3 февраля 1888 г. П., 2, 186).

«Степь» и в самом деле вызвала целую волну откликов: девять крупнейших газет и журналов сразу же отозвались о ней в своих литературных обозрениях. Чехов получил также несколько писем о «Степи», среди них — от Н. К. Михайловского и П. Н. Островского. Позднее «Степь» неизменно упоминалась во всех сколько-нибудь серьезных работах о Чехове и литературе его времени. «Разговоров» в самом деле было много.

Но не было разногласий, полемики, споров. Люди разных общественных направлений и

[71] Примечания: 71

Потебня А. А. Из записок по теории словесности // Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 399.

лагерей, от крайне реакционных до весьма либеральных, никогда и ни в чем не соглашавшиеся и даже не искавшие согласия (трудно представить себе, чтобы, например, Михайловский одобрил хотя бы одну строку, подписанную Бурениным), были приведены к небывалому единодушию: да, неплохо, хорошо, может быть, даже прекрасно, но содержания нет. «На нет и суда нет», — написал Михайловский, признавая то, что наша критика никогда не допускала даже умозрительно: возможность существования в литературе прекрасных, но бессодержательных форм.

Чехов не надеялся на шумный «беллетристический» успех «Степи», предназначая ее для того не слишком широкого круга читателей, которые в каждом поколении именуются «серьезными», «вдумчивыми», но никогда — «современными». Я. П. Полонскому он писал 18 января 1888 г.: «Для современной читающей публики такой сюжет, как степь с ее природой и людьми, представляется специальным и малозначащим» (П., 2, 178).

Между тем повесть появилась в очередном номере ежемесячного журнала, о котором, как это бывает и в наши дни, тогдашние современники спрашивали: «Ну, что у них там новенького на этот раз?»

Отсюда все недоразумения: нового ничего не было, если не считать новым напоминание о добрых старых пушкинских и гоголевских временах, казалось бы, давно и безвозвратно миновавших.

Что касается круга читателей, то Чехов представлял его себе достаточно ясно. За несколько месяцев до «Степи» появился рассказ на «степную» тему — «Счастье» (Новое время. 1887. 6 июня). Ал. П. Чехов 14 июня 1887 г. писал: «Ну, друже, наделал ты шуму своим последним „степным“ субботником. Вещица — прелесть. О ней только и говорят. Похвалы — самые ожесточенные. Доктора возят больным истрепанный № как успокаивающее средство… В ресторанах на Невском у Дононов и Дюссо, где газеты сменяются ежедневно, старый № с твоим рассказом треплется еще и до сих пор… Солнечные лучи, которые у тебя скользят при восходе солнца по земле и по листьям травы, вызывают потоки восторгов…».[72]

Слова Чехова: «Давно уж в толстых журналах не было таких повестей» — имеют, в сущности, один-единственный смысл, который сводится к следующему: давно уже в периодике не было

---

[72] Примечания: 72
Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. С. 165–166.

ничего классического. Остановка, таким образом, была за малым, и когда это «малое» наконец появилось, критика, искусившаяся на злободневности, не нашла нужных слов.

В историко-литературном плане «Степь» не составляет никакого исключения. Так бывало во времена «Домика в Коломне» и «Миргорода», так бывало всегда: «Новый гений открывает миру новую сферу в искусстве и оставляет за собою господствующую критику, нанося ей тем смертельный удар…»[73]

Хотя о «Степи» писали все ведущие журналы и газеты тех лет, отзывы отличались удивительным однообразием. Критика в самом деле упустила редкую возможность показать свою силу в оценке и анализе сложного поэтического материала, какой давала ей «Степь». Но тут мало сказать, что Чехов не нашел своего Белинского, что в критике той поры не было крупных имен, выдающихся фигур; в конце концов, ничего, кроме пресловутой «трагедии непонимания», которая вошла в традицию: мы до сих пор отмечаем своеобразные юбилеи — от А. Измайлова, писавшего в 1916 г. про «обиду непонимания»,

---

[73] Примечания: 73

Белинский В. Г. Указ. соч. Т. 6. С. 287.

до К. Чуковского («четверть века непонимания») и т. д. до наших времен, когда непониманию исполняется полных сто лет.

Были, очевидно, более глубокие причины, заключавшиеся в особенностях «Степи», чеховской прозы, чеховского творчества вообще; причины лежали в природе вещей. Чехов озадачивал современников, был для них писателем непривычным и трудным. Трудным было все — и жанр, одновременно новаторский и старомодный, и неторопливо-летописная манера письма, странным образом сочетавшаяся с краткостью, и, наконец, полнейшее отсутствие авторских пояснений и комментариев. А критика, как, впрочем, и тогдашний читатель, была приучена к тому, что писатель сам объясняет свои замыслы, заботится о том, чтобы труд его был понят правильно, вводит пояснительные страницы («авторские отступления») в художественный текст, пишет предисловия, послесловия, ответы на критику, открытые письма, статьи. Больше того: критика привыкла спорить с Достоевским, Тургеневым, Л. Толстым, ежемесячно объясняться с ними, печатно выяснять отношения.

Чехов не давал поводов для спора: он просто писал, воздерживаясь от каких бы то ни было

суждений о своем творчестве, и, таким образом, лишал критику почвы, на которой она только и могла строить свои концепции и обобщения. Отсюда все недовольство, упреки в холодности, равнодушии к общественным проблемам и т. д.

Возникала характерная и по-своему весьма драматическая коллизия: Чехов — конечно, не без иронии — приводил критику к тупику, требуя от нее самостоятельности, серьезных усилий памяти и воображения и такой способности к анализу и обобщениям, какой она не обладала, да, пожалуй, и не могла обладать. Столь же сложным было и отношение к читателю: сама структура чеховской прозы с ее фрагментарностью, со смысловыми пропусками, которые удачно были названы «лакунами»,[74] требовала от читателя непривычной самостоятельности и смелости, не позволяла мысли коснеть и лениться, пробуждала начала активные, творческие; а это, естественно, не каждому было дано, этого не ждали.

В журналах и в самом деле давно уже не было

---

[74] Примечания: 74

«Между посылками и заключениями, — писал И. Н. Игнатов о рассказе „Случай из практики“, — существует какой-то пропуск, lacune, который читатель не может заполнить сам ввиду отсутствия необходимых данных» (И-т. Новости литературы и журналистики // Русские ведомости. 1898. 19 дек.).

столь созерцательных и столь полемичных по отношению к господствующему художественному вкусу повестей, как «Степь». Шли своей медлительной чередой пространные описания природы, отмеченные, правда, своеобразной лирикой и какой-то задумчивой печалью, но бессюжетные. «Как хорошо ни описывайте природу, все-таки это будет только описание», — заметила одна из корреспонденток Чехова, О. Г. Галенковская, ценившая, подобно большинству, повествование с острым сюжетом и тем, что тогда называли «идеей».

Нужно помнить, что описания природы в литературе послепушкинской поры вышли из моды и даже осуждались как явление «чистого искусства». Чтобы убедиться в этом, нет необходимости перечитывать критику 1840-1850-х годов, достаточно вспомнить «Обломова»: «Что же, природу прикажете изображать: розы, соловья или морозное утро, между тем как все кипит, движется вокруг? Нам нужна одна голая физиология общества; не до песен нам теперь…»[75]

Странно было и то, что до последних страниц этой повести ничего, в сущности, не случалось:

---

[75] Примечания: 75

Гончаров И. Л. Обломов. Л., 1987. С. 25 (Лит. памятники).

мальчик уезжал из одного города и по степной дороге без особенных приключений благополучно приезжал в другой. В конце не было привычного «продолжение следует». Finis. Никто не отнес «Степь» к числу значительных литературных явлений, тем более — к числу литературных памятников, никто не думал, что повесть не канет в Лету, что ее поэтический замысел будет проясняться, приобретая со временем истинную ценность и смысл. Напротив: Ф. Д. Батюшков предсказывал, что подобное путешествие в нашей литературе едва ли кто-нибудь еще раз решится совершить…[76]

А. И. Эртель писал Чехову 25 марта 1893 г.: «…Я долго не знал, а потому и не ценил Вас как писателя. Первое прочитал — „Степь“, но несоразмерное нагромождение описаний, — правда, в отдельности очень тонких, — меня утомило и не заинтересовало Вами» (П., 5, 461).

Эртель принял Чехова после Сахалина, с появлением «Палаты № 6»; раннее же творчество — все, что было до «Степи» — оставалось неизвест-

---

[76] Примечания: 76

Батюшков Ф. Д. Антон Павлович Чехов // История русской литературы XIX века / Под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского. М.: Изд. т-ва «Мир». 1910. Т 5. С. 197. Обзор критических отзывов о «Степи» см. в комментариях к т. 7 Полн. собр. соч. А. П. Чехова (М., 1977. С. 633 и сл.)

ным ему, как большинству тогдашних критиков и читателей. «Степь» он воспринял как повесть описательную: роман действительно «все поглотил», время описательной прозы, казалось, прошло навсегда. И какой бы поэтичностью, каким бы художественным совершенством она ни отличалась, даже люди со вкусом, даже серьезные прозаики оставались равнодушными к ней.

«В этом рассказе поразительное сочетание полной бессодержательности сюжета с необыкновенно тонкой отделкой мелких, как бы налету схваченных описаний природы. Вся фабула сводится к тому, что священник с мальчиком целый день едут по степи из губернского города и перед ними мелькают, одно за другим, встречные, случайные впечатления. Все эти впечатления, порознь взятые, переданы мастерски. Но беда именно в том, что они совершенно случайны… И единственная нить, связывающая эти разрозненные встречи на пути, придающая им цельность, — это степь, бесконечная, разнообразная и пустынная. Быть может, в этом скрывается философская мысль — представление о самой жизни как о чем-то бессодержательном, как о бесцельном ряде случайных встреч и мелких событий, нанизывающихся одно на другое, без

внутренней связи…»[77]

Как ясно, как трезво понимал свое время Чехов, предвидевший, что повесть не будет понята ни критикой, ни широкой публикой, воспитанной на чтении более злободневном — таком, например, какое поставлял Г. А. Мачтет: «Среда, к которой мы принадлежим, — среда цивилизации и культуры <…> очаг науки <…> значит, прогресса, значит, счастья человечества <…> Жить и работать в ней и для нее — значит жить и работать для всех <…> Конечно, не тунеядствовать, а работать честно, помня, что мы — пионеры прогресса, что наша обязанность — не успокаиваться на добытом».[78]

Пусть во всем этом тексте не было ни одного живого слова, во всем романе — ни единой свежей метафоры, неожиданного сюжетного поворота или незнакомого лица — неважно: все было «по правилам», все угождало читательскому вкусу, не слишком требовательному и разборчивому, приученному к бесцветной, черно-белой риторике журнального романа…

Михайловский заметил, что сама талантли-

---

[77] Примечания: 77

Головин К. Ф. Русский роман и русское общество. СПб., 1897. С. 456.

[78] Примечания: 78

Русская мысль. 1887. № 6. С. 34.

вость автора явилась в данном случае источником «неприятного утомления: идешь по этой степи, и кажется, конца ей нет…»[79]

Были, разумеется, благожелательные отзывы, в письмах А. Н. Плещеева — восторженные, но во всех них, от самых восторженных до самых резких, сквозило недоумение: за мастерством и яркой талантливостью не угадывалось никакой «общей идеи», столь откровенно и наивно выражавшейся, например, в романах Шеллера-Михайлова (да и вообще во всех тогдашних «злободневных» романах), ни цели, ни художественной цельности (т. е. тривиальной сюжетной последовательности — от завязки через кульминацию к финалу). «Степь» состояла из отдельных зарисовок, из подчеркнуто разрозненных отрывков, как будто Чехов порывал все связи с традиционным повествованием в попытке создать нечто совершенно необычное, для чего в лексиконе журнальной критики не было определений. Промелькнуло было словечко «пантеизм», но в самом понятии «пантеизм» тоже не было ничего современного; оно напоминало о каких-то

[79] Примечания: 79

Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи. М., 1957. С. 600 (ст. «Об отцах и детях и о г. Чехове», напечатанная впервые в газ.: Русские ведомости. 1890. 18 апр.).

доисторических временах, о первобытном художественном сознании.

Критика восприняла «Степь» как повесть не вполне удачную прежде всего потому, что не нашла в ней ничего злободневного. О ней писали профессиональные журналисты и литературные обозреватели того нелюбимого, хорошо знакомого Чехову типа, который упомянут в рассказе «Хорошие люди» (1886): «Это пишущий, к которому очень шло, когда он говорил „Нас немного!“ или „Что за жизнь без борьбы? Вперед!“, хотя он ни с кем никогда не боролся и никогда не шел вперед». Такая критика живет злобою дня, и это было бы вполне естественно, если бы не ограничивало так безнадежно весь ее кругозор, не отнимало бы у нее способность ценить прошлое и предвидеть будущее.

Злободневность является необходимой предпосылкой и условием существования и развития литературы, в истории которой каждое десятилетие оставляет для последующих какую-то свою, пусть иногда и бесконечно малую долю.

Сама по себе злободневность не хороша и не дурна, она в природе вещей; она становится безусловно дурной, когда противопоставляет себя былому, а тем самым и будущему. «Ува-

жение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости», — сказал некогда Пушкин, напомнивший, что ложно понимаемая злободневность может вытеснить из литературы истинное содержание, без которого она в своих исторически значительных формах существовать не может («Наброски статьи о русской литературе», 1830). Об этом — в том же пушкинском смысле и на первых порах с той же тщетой — напоминал своим современникам Чехов.

Чтобы составить себе достаточно полное и достоверное представление о литературной моде той поры, нет нужды обращаться к старым журналам; достаточно перечитать Чехова — «На пути», например, где перечислены все увлечения идейной русской молодежи, от народничества до теории малых дел и толстовства, или тех же «Хороших людей», или «Дом с мезонином», или «Палату № 6». А «Черный монах»? Сколько сиюминутных тревог, неотложных идей и волнений — «все призраки пустые», но как они были всевластны в свое скоротечное время, как страшны!

В такие времена по-настоящему злободневным становится историзм, с которым Чехов шел в большую литературу: «Степь» и по авторскому замыслу, и по сути своей была обращением к

памяти, личной и общерусской, она была напоминанием — вот причина, в силу которой она больше, чем другие повести Чехова и, может быть, больше, чем все, что появилось в литературе последних десятилетий XIX в., заслуживает название литературного памятника.

9

Чехов сказал о композиции «Степи»: «Каждая отдельная глава составляет особый рассказ, и все главы связаны, как пять фигур в кадрили, близким родством» (Д. В. Григоровичу, 12 января 1888 г. П., 2, 173). Подразумевал он, конечно, повторы и ритмические возвращения к сказанному ранее, к тому, что было уже на предыдущих страницах и для читателя миновало.

Яснее всего этот ритм отмечается чередующими обращениями к образу мельницы, на первых порах едва различимой на горизонте повествования. Издали она «похожа на маленького человечка, размахивающего руками». Двумя страницами ниже она все еще напоминает Егорушке того же маленького человечка. Затем, спустя еще две страницы, «мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась все больше и больше, совсем выросла, и уж можно

было отчетливо разглядеть ее два крыла».

Страница кончается так: «…ветряк все еще не уходил назад, не отставал, глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. Какой колдун!»

При внимательном чтении удается почувствовать этот подчиненный сильной художественной воле гул времени, его медлительный необратимый ход в великом степном пространстве, в дороге, которой не видно конца.

«Время в художественной литературе воспринимается благодаря связи событий — причинно-следственной или психологической, ассоциативной, — писал Д. С. Лихачев. — Это не только и не столько календарные отсчеты, сколько соотнесенность событий <…> События в сюжете предшествуют друг другу и следуют друг за другом, выстраиваются в сложный ряд, и благодаря этому читатель способен замечать время в художественном произведении, даже если о времени в нем ничего специально не говорится».[80]

Обоз шаг за шагом движется, мельница уходит за горизонт, исчезает из глаз; наконец, приезжают в город, где Егорушку — а вместе с ним и

---

[80] Примечания: 80

Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. С. 217.

читателя — обступают другие картины, где для мельницы, казалось бы, и места не найти; но нет: «Тит на тонких ножках подошел к постели и замахал руками, потом вырос до потолка и обратился в мельницу».

И еще двумя страницами ниже, в самом конце: «Едва он закрыл глаза, как опять увидел Тита и мельницу».

Сильнейшим из всех впечатлений, возникающих при чтении «Степи», является, конечно, переживание уходящего времени. Оно течет здесь за страницей страница, как минутная стрелка на башенных курантах, как маятник, превращающий время в некую доступную созерцанию материю, как тень на древних циферблатах солнечных часов: «Казалось, что с утра прошло уже сто лет… Не хотел ли Бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в этом воздухе и, как холмы, окаменели бы и остались навеки на одном месте?»

Незаметно, страница за страницей, проходит детство Егорушки, и потому-то она и трогает нас, эта повесть, что так же прошло когда-то шаг за шагом и оно, наше детство, детство читателей…

Это, так сказать, «долгое», летописное время; но в повести есть и другие, чаще всего неожи-

данные словосочетания и обороты, передающие мгновенные, неуловимые и в то же время незабываемые впечатления. Так написана сцена встречи с незнакомкой на постоялом дворе Мойсея Мойсеича, когда «…на Егорушку пахнуло легким ветерком, и показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнула крыльями».

Это хороший пример требовательности к читателю: впечатление мимолетно, птица взмахнула крылом и пролетела, но «прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий стройный тополь, который он видел днем на холме».

А тополь встретился Егорушке в первой главе, двадцатью пятью страницами ранее, и читателю приходится связывать эти разрозненные описания, создавая образ, которого в тексте «Степи», строго говоря, нет. Чехов ничем не помогает ему, дает лишь отдельные определения, которые «почему-то» приходят на память его герою. И нельзя отвлекаться, нельзя пропустить ни одной строки; если это удалось, нужно довольно сильное поэтическое воображение и чутье, чтобы найти нечто общее между далеким тополем, черной птицей и очарованием незнакомки и связать это в образе,

полном жизни и красоты.

Случайно подчеркнутый эпитет, бессистемное или тенденциозное цитирование могут привести к ложным выводам. Утверждается, например:

«Ущербность изображаемой жизни особенно сказывается в эпитетах: цветовые гаммы ослаблены. Лермонтов ввел когда-то эпитет *лиловый*: „между лиловых облаков“. Такое обозначение цвета было бы для Чехова слишком резким, он смягчает его: „однообразие дымчатых лиловатых гор“ <...> Сколько эпитетов, смягчающих один, более резко обозначенный цвет». Здесь все неверно, от Лермонтова до заключительного вывода: «В этом колорите — пасмурный облик чеховского критицизма».[81]

В «Степи» эпитет *лиловый* звучит столь же «определенно», как и в лермонтовском примере, главное же — повторяется несколько раз: «Холмы сливаются в возвышенность, которая... исчезает в лиловой дали»; «Увидел он... равнину, холмы, небо, лиловую даль...»; «Холмы все еще тонули в лиловой дали...»

Чехов очень богат, у него можно найти все, что угодно, — и пушкинские, и лермонтовские

---

[81] Примечания: 81

Чичерин А. В. Лексическая основа чеховского стиля // Рус. лит. 1982. № 3. С. 113.

эпитеты, и тургеневские ноты, и мотивы забытых элегий. Ночная гроза приводит на ум «демонов глухонемых», а рассказ об отчаянных, грустных мыслях, «когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо», напоминает Тютчева:

> *Бесследно все — и так легко не быть!*
>
> *При мне иль без меня — что нужды в том?*
>
> *Все будет то ж — и вьюга так же выть,*
>
> *И тот же мрак, и та же степь кругом.*[82]

Основной трудностью при всяком обращении к «Степи» оказывается то, что Чехов называл «тоном» — широкая область подразумеваемых значений слова, обращенного к памяти читателя, намекающего нам на нечто очень знакомое, но полузабытое; этот прием был удачно назван «стилистикой далеких соответствий».

Язык «Степи» прост, в нем нет ничего от стилизации или изукрашенности; кажется, что у Чехова не было трудностей и повесть сложилась

---

[82] Примечания: 82

Тютчев Ф. И. Лирика: В 2 т. М.: Наука, 1965. Т. 1. С. 224. (Лит. памятники).

сама собой.

Между тем ни до, ни после «Степи» Чехов не решал более сложных художественных задач, не работал столь сосредоточенно над каждым словом. Мало того, что он писал первую свою серьезную повесть — он создавал новую и для себя самого, и для читателя художественную форму, исполненную поэтического содержания и тончайших словарных оттенков: «Сюжет поэтичный, и если я не сорвусь с того тона, каким начал, то кое-что выйдет у меня „из ряда вон выдающее“» (А. Н. Плещееву, 19 января 1888 г. П., 2, 179–180). Все, что сказано в письмах о поэтичности, музыкальности, тоне, об отдельных сценах и главках, связанных между собою, как пять фигур кадрили, — все это, в конце концов, иносказательные определения словарного колорита «Степи»: «Пока писал, я чувствовал, что пахло около меня летом и степью» (А. Н. Плещееву, 3 февраля 1888 г. П., 2, 185). В повести нет ничего чрезмерного, бьющего на эффект — ни колоритных архаизмов, ни провинциализмов, о которых Чехов так резко отзывался в эту пору (И. Л. Леонтьеву-Щеглову, 22 февраля 1888 г. П., 2, 205), ни столь неприятных ему «пущай» и «таперича».

«Степь» написана рукою классика, это гармо-

ничная, простая и ясная проза; она и теперь еще не кажется старомодной — разве что бричка с ее примечательным эпитетом («ошарпанная») остановит глаз, да и то не столько своей архаичностью, сколько тем, что напомнит о «Мертвых душах» и Гоголе.

Но чем проще словарь и чем он лаконичнее, чем меньше в нем определений и всякого рода поясняющих стилевых оборотов, тем выше цена слова и тех его отдаленных или полузабытых значений, которые не нужны в разговорном языке.

В этой повести, столь непохожей на словоохотливую беллетристику «толстых» журналов, угадывался сокровенный и сложный художественный замысел. Мало того, что в «Степи» нет хоть сколько-нибудь развитого и увлекательного сюжета, но и то немногое, что в ее сюжетном течении все-таки есть, то и дело замедляется и замирает. В долгих сюжетных паузах, когда персонажи бездействуют и молчат, когда мир погружен во тьму и ничто в нем уже не движется, «описывать» в обычном смысле этого слова, собственно, нечего: нет конфликтов, нет поводов для рассказа. Пространство повествования освобождается, его заполняют странные звуки, пугающие образы, неясные припоминания, це-

лые ряды олицетворений и символов, какие в злободневной беллетристике не встречались.

Олицетворение и символ — древние тропы; чтобы найти им место в современной повести, нужно было видоизменить не только ее сюжет и композиционный план, но и, в конце концов, всю ее жанровую природу. И если мотивы детства и образ Егорушки нужны были Чехову, чтобы читатель глазами героя мог видеть степные символы и вместе с ним задумываться над их таинственным смыслом, то, в свой черед, символы нужны были затем, чтобы пробудить у читателя память о детстве, сохраняющем интуитивную приверженность к изначальной образности и древнейшей художественной правде.

В повести соотносятся и контрастируют два общих плана: прозаический деловой тракт, бричка, вообще все, что дает повод для «взрослого» повествования о шерсти, деньгах, торговых оборотах, о церкви, лавке, постоялом дворе, о миллионере Варламове и нищем Соломоне, об отарах овец и т. д. Эта «современная» линия в повести есть, но она лишена всякой увлекательности и, как тогда писали, «бедна и пунктирна».

Второй — основной для Чехова — сюжетный план связан не с трактом, по которому катят в

город провинциальные дельцы, не с постоялым двором, не с поучениями старенького священника, не с Варламовым, а с образом покинутой древней дороги, по которой «теперь» никто уже не ездит, с мотивами медлительного движения, лучше сказать — хождения вдоль этой древней жанровой диагонали, пересекающей степь и придающей повествованию своеобразную законченность и цельность. В этом основном плане и происходит все значительное и важное, все, что было дорого Чехову и стоило ему серьезного творческого труда: просыпается степь, поют травы, идут своим древним путем великаны; здесь сосредоточены все олицетворения и символы, все знаки древности, родины и судьбы. И это не «лирические отступления», о которых умела и любила говорить критика — в повести так мало действия, что «отступать-то», собственно, не от чего. Это основной план «Степи», который не был понят из-за характерной слепоты и равнодушия ко всему, что не есть роман: «Это потому, что г. Чехов не был в душе у Егорушки, а только мельком взглядывал на него, любуясь привольной, но однообразной картиной степи».[83]

---

[83] Примечания: 83
Вестник Европы. 1904. № 1. С. 140–142.

«Степь» столь же символична для чеховского творчества, как «Чайка», как «Вишневый сад». Эта лирическая повесть пробуждала сострадание и чувство вины перед… чем же? Степью? Родиной? Самим собой? Странное чувство, с одинаковой болью переживавшееся Гаршиным, Репиным, даже Щедриным. Далекое от повседневной суеты и забот, оно томило, как напоминание о непрощенной вине, как обращение к совести. Чехов словно бы напоминал о чем-то, словно бы «Степь» была задумана «не по былинам сего времени», и они-то и подразумевались при создании повести.

Среди наших исторических символов едва ли есть что-нибудь более древнее, чем степь, и если проводить параллели, то не с литературой 1880-х годов. Нужно искать сходство среди сказочных преданий и былин, среди «дорогих образов и картин», в жанровых руинах древнерусской литературы, где повесть выступала в своем естественном прототипе, как хождение, как рассказ о далеком пути через степь с ее курганами, грозами, каменными истуканами, охраняющими могилы печенегов и половцев.

Олицетворения природы и древние символы в повести занимают основное место; это не орнамент, а сущность «Степи», основное в ее

многосложной поэтике. Поэтика же — если это поэтика — всегда и прежде всего исторична.

Молчаливый старик-курган, каменная баба, поставленная Бог ведает кем и когда, степные легенды, приходящие мало-помалу на память вместе со сказками нянюшки — зачем это вспоминалось, зачем с такой страстью звучали эти лирические обращения, вызывавшие, вероятно, снисходительную улыбку у тогдашних читателей и читательниц, занятых, подобно Лиде Волчаниновой, проблемами выборов в земство, «аптечками, библиотечками»…

Как будто это могли услышать: «Степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные…» А кому, собственно, они были нужны тогда и зачем их было воспевать, эти курганы, дорогу, каменных идолов — вот вопрос, возникавший у первых читателей (да и позднее), хотя ответ на него был известен с гимназических времен: «Но камень сей ведь Бог…»

Чехов возвращал литературе чувство истории — прежде всего чувство, ощутимое физически, как душевная боль: «Похоже было на то, как будто я только впервые стал замечать, что, кроме задач, составлявших сущность моей жизни, есть еще

необъятный внешний мир с его веками, бесконечностью и с миллиардами жизней в прошлом и настоящем» («Рассказ неизвестного человека», 1893. С., 8, 365).

Идея времени, человеческой жизни, текущей из рода в род, воплотилась и в последнем создании Чехова, пьесе «Вишневый сад». На страницах «Степи» вишневые деревья соседствуют с памятниками кладбища: «Егорушка вспомнил, что когда цветет вишня, эти белые пятна мешаются с вишневыми цветами в белое море; а когда она спеет, белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, как кровь, точками». Долго жил в сознании Чехова образ этого сада — *белое море* прошлого в соцветии и багрянце вишневых деревьев…

С чувством истории связана и поэтика, повествовательная техника «новых форм». Проще всего было бы сказать о ней, что это «хорошо забытое старое», но простое возвращение к старине в литературе невозможно: «кто к месту вспоминает пословицу, тот создает ее вновь». С этим сознанием оригинальности и новизны Чехов писал свою «Степь», и многое в ней в самом деле показалось странным: пели и жаловались травы, мигали зарницы, из ночной тьмы, как два красных глаза,

смотрели угли догорающего костра, поскольку «в поэтическом произведении предпочтительнее вероятное невозможное, чем невероятное, хотя и возможное…»[84]

«Степь» — повесть о русской земле, в известном смысле — иносказание, возвращение на круги своя, на большую дорогу истории, на этот древний путь, пересекающий степь из конца в конец — начало его у истока, а конец — за их далью, на путь, с которого жизнь свернула уже на железнодорожную узкоколейку.

Движение в «Степи», вначале быстрое, так что мелькают, как будто Чехов не успевал их описывать, острог, закопченные кузницы, кирпичные заводы, кладбище, постепенно замедляется и наконец становится настоящим хождением: «Когда хожу, словно легче, когда ложусь да согреюсь — смерть моя…» С этого момента наступает «медленное» время, читатель вместе с Егорушкой попадает в непривычный мир, где «все представляется не тем, что оно есть», где все вокруг, куда ни кинешь взгляд, было точно таким же и день, и год, и век тому назад — холмы, коршуны, каменные истуканы, сожженные солнцем травы.

---

[84] Примечания: 84
Аристотель. Поэтика. М., 1957. С. 133.

В повествовании появляются символы времени, а вместе с ними пробуждается и сознание истории и связи времен: неведомо кем насыпаны курганы, неведомо когда поставлены идолы, вечно летают коршуны, а все вместе сливается в сознание родины, и лично для себя Егорушка не допускает мысли о смерти, ему кажется, что он никогда не умрет.

И на всем пространстве повествования чередуются ряды образов и картин — реальных, с обычной повествовательной стилистикой, с предметными и портретными описаниями, не затрудняющими внимания читателя, приученного к такой прозе Гоголем: «На одной стене в серой деревянной раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то гравюра с надписью: „Равнодушие человеков“. К чему человеки были равнодушны — понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами» (гл. III).

В этом ряду лишь изредка промелькнет неожиданное сравнение — например, отец Христофор без рясы окажется похожим на Робинзона Крузо, но в целом это ровный реальный прозаический ряд — даже Варламов с его привычной уже

властью над степью оказывается маленьким картавым человечком, не вызывающим у Егорушки никакого почтения. Но за сельской лавкой и церковью, за всеми спутниками и встречными, за разудалым голошением Кирюхи, когда кажется, что по степи на огромных колесах покатилась сама глупость, за Соломоном, который додумался уже до того, что Варламов — лакей и раб своих денег, сжег деньги, завещанные ему отцом («Так жалко, так жалко! Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне, а зачем же палить?»), и до многого еще додумается в не столь уж далеком будущем; за Дымовым, который многое перелопатит и вырвет с корнем, пока истощит свои силы, которых ему некуда девать, — словом, за всеми, всеми персонажами повести стоит вечность в образе степи, в олицетворениях и символах, которых читатель ни в текущей периодике, ни в тогдашних книгах не встречал.

«Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем… Черные лохмотья слева уже поднимались кверху и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне <…> Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидел новую опасность: за возом шли три громадных великана с длинными пиками

<…> Быть может, шли они за обозом не для того, чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное».

Приемы повествования столь же историчны, как поэтика в целом; обращаясь к олицетворениям, писатель возвращает нашу память к стародавним временам. В этом, собственно, и заключен художественный замысел «Степи»: контрастное сопоставление обыденного и вечного, быта и бытия; можно предпочесть одно другому, можно не понимать ни того, ни другого, но нужно знать, что замысел Чехова заключен в сопоставлении, помнить о двуединстве повествования и войти в него, как «образ входит в образ и как предмет сечет предмет» (Б. Пастернак). Иначе трудно избежать ошибок, иногда грубых до неправдоподобия, почти пародийных.

В. В. Ермилов писал в свое время, подразумевая статьи В. Назаренко, одного из самых запальчивых и страстных обличителей «безвременья»: у него есть своя «последовательная линия по отношению к Чехову — депоэтизация. Если в рассмотренной нами статье он создал „Антидом с антимезонином“, то в № 8 журнала „Октябрь“ он не менее четко вылепил „Антистепь“… Чехов „особо подчеркивает свое сугубо ироническое

отношение к лунным красотам, преподносимым (!) в несколько даже пародийном роде“. Пародирование луны, ночи, степи — вот занятие Чехова, вот его острая сатира на действительность конца 80-х годов. Могла ли существовать красота лунной ночи при Александре III?».[85]

Был некогда «век поэзии» — первая половина XIX столетия, до Тургенева с его собственными стихами, краткий век Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, — какая одухотворенная, высокая страсть к стихам: «Поэзия — товарищ несравненный…»

Наступил затем век прозы, вторая половина столетия; ей Чехов принадлежит целиком.

Но Чехов, сказал о нем Толстой, создал новые — «новые для всего мира» — формы письма, Чехов — это Пушкин в прозе. Может быть, замечания о близком родстве поэзии и прозы в чеховских письмах времен «Степи» и выражают сущность этой новизны: синтез поэзии и прозы, жанровое слияние древнейших мифологических образов и форм с формами нового времени? Слияние интуитивной метафоричности, свойственной детству, с рациональностью иронической зрелой поры?

---

[85] Примечания: 85

Ермилов В. В. «Нечто непоправимо комическое…»: Об антимире критика В. Назаренко // Вопр. лит. 1963. № 11. С. 149.

«Степь», что ни говори, как ее ни читай, все же не повесть, тем более — не журнальная повесть конца XIX столетия; это заповедник полуразрушенной поэтической родины, древней русской земли. Иначе зачем они и откуда, эти символы: перекати-поле, сцепляющиеся друг с другом, как на поединке; птица, называемая «сплюком»; эта предгрозовая тоска, когда никто не находит себе места, все переживают тревогу и боль. Так однажды у Пушкина ветер «выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным».[86]

Но мы все еще очень мало знаем о связях древнерусской и новой нашей литературы, и совсем не редкость этот дикий, казалось бы, вопрос: а что между ними общего? Как что? Да то, что они русские!

Откуда же еще она явилась, чтобы пересечь чеховскую повесть, эта великая жанровая диагональ нашей литературы — дорога, которой к лицу были бы богатыри, если бы они существовали…

«Быть может, никогда человек не сознавал так ясно, как теперь, своей зависимости от прошедше-

---

[86] Примечания: 86

Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 6. С. 267.

го и не считал столь важным его изучение».[87]

10

В 1888 г., отмеченном большими переменами и успехами, сложилась система эстетических воззрений, от которой впоследствии Чехов не отступал. В сущности, это и была его философия творчества, мало похожая на общепринятые представления о литературе как учебнике жизни.

«Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно», — писал он А. С. Суворину 1 апреля 1890 г. (П., 4, 54), продолжая спор, имевший уже свою историю и начавшийся с появлением «Степи». Беда заключалась в том, что Суворин, прирожденный фельетонист и профессиональный газетчик, как раз в этом случае понимал Чехова особенно плохо: что кража есть зло — об этом газета должна писать из номера в номер, обличая вчерашнюю кражу, чтобы завтра обрушиться на ту, что совершалась сегодня. Иного смысла газетный фельетон не имел и не мог иметь: он обеспечивал спрос на газету и

---

[87] Примечания: 87

Потебня А. А. Из записок по теории словесности. С. 395.

поддерживал ее репутацию. Ничего особенно нового для себя Чехов от Суворина, разумеется, не услышал; о фельетонности, обличении пороков, о нравственном влиянии литературы он думал еще в свои ранние годы, печатаясь в Лейкина: «Чиновники продолжают брать взятки, хотя и читали Гоголя…»

Свое эстетическое кредо, о котором много спорили — и, конечно, будут спорить, — Чехов определил в письме к Суворину в год появления «Степи»: «Требуя от художника сознательного отношения к работе, Вы правы, но Вы смешиваете два понятия: *решение вопроса* и *правильная постановка вопроса*. Только второе обязательно для художника. В „Анне Карениной“ и в „Онегине“ не решен ни один вопрос, но они Вас вполне удовлетворяют, потому только, что все вопросы поставлены в них правильно. Суд обязан ставить правильно вопросы, а решают пусть присяжные, каждый на свой вкус» (27 октября 1888 г. П., 3, 46).

Ответ Суворина до нас не дошел, но с таким подходом он, судя по множеству полемических замечаний в других чеховских письмах, не согласился. Правда, с тех времен, как вышли в свет «Евгений Онегин» и «Анна Каренина», в

России едва ли можно было найти двух собеседников — литературных ли критиков, филологов, гимназистов или просто читателей, — которые согласно понимали бы эти романы, судьбу Анны, судьбу Евгения.

Эти два имени — Пушкин и Лев Толстой — определяют тот художественный горизонт, ту высоту и меру, к которой стремился Чехов, создавая «Степь».

Правильная постановка вопроса — что есть истина? — сводилась к исканию истины, иными словами, к художественной идее пути, протянувшегося из незапамятного прошлого в далекое будущее. Истина по сути своей есть искание, бесконечно возникающий и ежеминутно, шаг за шагом решаемый вопрос, или, на языке образов, дорога предков, которую важно найти в детстве, чтобы в юные и зрелые годы не сбиваться с пути.

К своей повести Чехов относился с обычной для него, быть может чрезмерной, взыскательностью, он допускал даже, что «Степь» на три четверти не удалась ему («все-таки в общем она не удовлетворяет меня, хотя местами и попадаются в ней „стихи в прозе“», — заметил он в письме к А. Н. Плещееву 23 января 1888 г. — П., 2, 182), но был убежден, что главное ему удалось.

Он возвращал русскому читателю нечто древнее, родовое, о чем, может быть, допустимо забыть на какое-то время, но что не должно и не может быть утрачено навсегда. Как ни важны здесь личные, лирические воспоминания о детстве и отрочестве, о приазовских степях, еще важнее общая память о «степном царстве», без которой у писателя нет ни прошлого, ни будущего, ни традиций, ни серьезных читателей.

Отказываясь от фельетонности и нравоучительности, Чехов возвращал литературе образ и образность — эту первородную праматеринскую речь поэзии, это «слово», о котором его современники, искавшие простые ответы на сложные вопросы и даже получавшие их (например, в проповедничестве Льва Толстого), начали уже забывать.

Едва ли есть у нас хоть одна работа с упоминанием «Степи», где не приводился бы нижеследующий текст:

«Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены.

Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием; приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной…»

И всякий раз возникает вопрос: кто это говорит, кому принадлежат эти мысли? И в самом деле — кому?

Текст в литературе обращен к читателю, ради которого он и пишется; текст — путь к читателю, но путь без возврата и без конца. Чехов ничего уже не может нам объяснить, как, впрочем, не мог и в тех нередких случаях, когда его спрашивали — да что там спрашивали, пытали — о смысле написанного им: пусть решают читатели.

«Авторский голос» или «авторская позиция» — они не были бессмыслицей для современников писателя, которых волновали злободневные проблемы, и они искали ответа в книге, они хотели знать, что Чехов высмеивает и обличает, а что, напротив, утверждает в своем творчестве, во что он верует и чего придерживается — толстовства, теории малых дел, либерализма или же он сто-

ронник правопорядка и не поднимается выше текущего бытия? Словом, как некогда было уже на Руси:

Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны,
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся скопом в нас пороки.
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.

(«Поэт и толпа», 1828)

Она далеко не нова, эта «проблема авторского голоса», и она сохранит свое значение для комментаторов, для историков литературы, для всех, кто вынужден читать Пушкина или Чехова так, как читали их современники — те, кто не находил у них злободневности (в пушкинские времена это называлось «протеизмом», а в чеховские —

индифферентизмом). В этом смысле она является проблемою фельетонных значений творчества. У больших художников таких значений немного, они угасают, теряя смысл для новых поколений, и без комментария не воспринимаются.

«Термин „тенденциозность“ имеет в своем основании именно неуменье людей возвышаться над частностями», — писал Чехов А. С. Суворину 18 октября 1888 г. (П., 3, 37).

Мы возвращаемся к старым книгам, поскольку они возвышаются над частностями, поскольку они открыты для тех современных значений, какие мы можем вложить в их содержание и в их язык, живущий новой — нашей — жизнью.

Быть может, всего труднее дается нам понимание чеховской объективности: «людям подавай людей, а не самого себя» — что это, собственно, значит?

Много раз, в письмах разных лет — старшему брату, Л. А. Авиловой, Е. М. Шавровой — говорилось, без особой надежды на понимание: «Над рассказами можно и плакать, и стенать, можно страдать заодно со своими героями, но, полагаю, нужно это делать так, чтобы читатель не заметил. Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление. Вот что я хотел сказать» (Л. А. Авиловой,

29 апреля 1892 г. — П., 5, 58).

Проблема авторского голоса не находит решения, поскольку она, по-видимому, неверно поставлена. Чехов устранил всякую возможность выделить в его повествовании какой-либо преобладающий, тем более один-единственный голос. Так невозможно выделить в солнечном свете один лишь зеленый или, например, синий, красный, лиловый цвет. Все они есть в нем, потому он и белый, что они в нем есть. Но это как раз и смущало критиков, а позднее исследователей чеховской поэтики.

Проходят годы, сменяются поколения читателей, а смущение не проходит. Как век назад говорили о Чехове, что он не отдает предпочтения ни одному из цветов, так и теперь говорят, что он колеблется, не указывая ясных и точных значений.

Сказывается привычка к фельетонной романистике и «осколочной» литературе, на фоне которой «Степь» представлялась поэтичной бессмыслицей.

То же и в живописи, и в музыке: дальтоник не просто видит «не то» или «не так»; не различая цветов и оттенков, он не видит самой живописи, как человек, лишенный музыкального слуха,

невосприимчив к музыке, особенно сложной, серьезной музыке, новой ли, старой ли — все равно.

Если бы разыскивалось нечто скрытое в глубоком подтексте, недоступное без особенно сложных и тонких приемов анализа; но ведь ищем то, чего нет! Чехов не только не хотел быть рупором идей, но действительно не знал, кто говорит его устами, и даже не считал, что художник должен это знать: «Будь же у нас критика, тогда бы я знал, что я составляю материал — хороший или дурной, все равно, — что для людей, посвятивших себя изучению жизни, я так же нужен, как для астронома звезда. И я бы тогда старался работать и знал бы, для чего работаю» (А. С. Суворину, 23 декабря 1888 г. — П., 3, 98).

Он принадлежал к тому типу художников, у которых нет откровенной риторической нравоучительности, чьи оценки, идеи, суждения воплощаются в образах. Он и в русской литературе не был единственным в своем роде «молодым дарованием, совсем не желавшим повторять избитые мысли и красоваться на деревянных скакунах своего времени… гоняясь за определенностью и „направлением“, которые можно получить из последней книги, журнала и взять

напрокат у любого учителя жизни».[88]

Мало похожий на Чехова по типу и душевному складу Н. Г. Чернышевский мечтал: «Написать роман чисто объективный, в котором не было бы никакого следа не только моих личных отношений, — даже никакого следа моих личных симпатий… как писал Шекспир: он изображает людей и жизнь, не высказывая, как он сам думает о вопросах, которые решаются его действующими лицами… Отелло говорит „да“, Яго говорит „нет“ — Шекспир молчит… Я хотел написать произведение чисто объективное. Ищите, кому я сочувствую… Вы не найдете этого. Ищите, как одно воззрение переходит в другое, совершенно несходное с ним. Думайте о каждом лице, как хотите, судите об этих сталкивающихся притязаниях. Я не сужу».[89]

Потому ли, что Чехов изучался вне всяких сопоставлений не то что с мировой, но и с серьезной русской литературой, или же по каким-то врожденным свойствам судивших о нем критиков,

---

[88] Примечания: 88

Андреевич (Соловьев Е. А.). Книга о Максиме Горьком и А. П. Чехове. СПб., 1900. С. 174.

[89] Примечания: 89

Чернышевский Н. Г. [Предисловие к роману «Повести в повести» («Перл создания»)] // *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В. 15 т. М., 1949. Т. 12. С. 683–684.

но он был объявлен писателем не только без направления, но даже и без особого смысла.

«Неужели на земном шаре так мало умных людей, что даже критики писать некому?» — удивлялся в свое время Чехов (А. Н. Плещееву, 9 апреля 1889 г. — П., 3, 187).

Но это и в самом деле не всем дано и не всякому интересно; причины здесь лежат в природе языка и в нашей способности понимать отдаленные, неявные или метафорические значения поэтического слова. Большая ошибка, как заметил современник Чехова А. А. Потебня, смотреть на язык как на средство передачи мысли; она не может быть переложена, как некая вещь, от говорящего или пишущего к слушающему или читающему; она возникает из образа, заключенного в слове, которое, добавим мы, есть одновременно и корпускула, и волна.

Язык — излучение действительности: пока сказанное понятно, оно действительно, т. е. конфликты, отношения, образы предметов и вещей таковы же, какими они были встарь.

Один из поздних чеховских персонажей говорит: «Что ж? После нас будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его, но жизнь

останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая» («Три сестры». С., 13, 146).

Что касается непонимания, то оно возникало по множеству самых различных причин, сводящихся в конце концов к тому же языку: даже для людей, говорящих только на одном языке, он может быть не вполне родным. Тут возможны ошибки и заблуждения, о которых сказано было — нарочно не придумаешь, и среди них грубейшая — отождествление предмета и образа, слова и вещи.

«На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша…»

Почему непременно арбуз, а, например, не персики, не виноград или дыня? В предметном мире реальной гостиницы это могло быть чистейшей случайностью; но в мире слов, в столь совершенном тексте каждое слово на нужном, на своем единственном месте — не потому лишь, что писатель ничего не пишет «случайно», и беловая рукопись представляет собою последовательность периодов, фраз и слов, выбранных из многотысячного словарного запаса, из миллионов возможных созвучий и сочетаний (так объяснял смысл своего труда Лев Толстой, но труд Чехова он ценил особенно: «Никогда у него нет

лишних подробностей, всякая или нужна, или прекрасна»).[90] На этой странице, в контрастном соседстве с «грешницей на старинной картине», с одинокой свечой, которая «едва освещала лицо», «арбуз» фонетически необходим и не может быть заменен, например, ни «виноградом», ни «дынею», которые звучали бы в контексте не столь контрастно и резко.

Говоря о повестях и рассказах, написанных Чеховым «прямо с натуры», мы, сознавая это или нет, идем на определенное упрощение. Какими бы необычайными способностями ни был одарен писатель, он все же не пейзажист, у него нет этюдника, палитры и красок, с помощью которых можно изобразить «с натуры» зеленую листву, синюю воду, лиловую даль. Слово само по себе совсем не предмет и не краска, оно лишь обозначает предметы, их свойства, формы и цвет, и может случиться так, что читатель представит себе («увидит») описанный мир не так, как предполагал писатель, вкладывая в слова иные оттенки, значения и цвета.

Собственно, «вещи» или «предметы» сами по себе как раз в литературе не имеют эстетического

---

[90] Примечания: 90

Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959. С. 98.

смысла: писатели сильные и писатели слабые обозначают их совершенно одинаковыми словами, и даже чем меньше поэтических оттенков и метафор, чем ближе к разговорному языку словарь и чем больше в нем простых назывных определений, тем легче неискушенному читателю совместить представление о предмете с предметом как таковым.

Литература — не действительность, тем более — не вся и не всякая действительность, но лишь то высокое, трагическое, прекрасное или смешное в ней, что может быть описано литературным словом. Литература, если можно так выразиться, словарная действительность; это жизнь в переводе на родной язык.

11

Чехов писал в расчете на читателя, предугадывая то, что может быть добавлено при чтении, и направляя нас в стремлении понять и наполнить смыслом его немногословную прозу и таинственную символику его пьес. Он оставлял пространство для воображения, личной памяти и жизненного опыта каждого из читателей, используя тот, по-видимому, единственный путь, каким располагает здесь литература, — словарь,

литературное слово, исполненное разнообразных значений и смыслов. «Количество слов и их сочетаний находится в самой прямой зависимости от суммы впечатлений и представлений; без последних не может быть ни понятий, ни определений, а стало быть, и поводов к обогащению языка» — это написал не филолог, не языковед, склонный к философским подходам в своей области, а Чехов. «Вы уделили очень мало места природе языка. Вашему читателю ведь важно знать, почему дикарь или сумасшедший употребляет только сотню-другую слов, в то время как в распоряжении Шекспира их были десятки тысяч» (М. О. Меньшикову, 12 октября 1892 г. — П., 5, 114–115).

Пока речь идет о родном языке, мы остаемся в своей стихии, хотя она порою и вводит нас в обман: родное слово прозрачно и незатруднительно, мы читаем так, будто книга и есть мир; слово, если у нас нет особой лингвистической цели, не отделяется в нашем воображении от предмета.

Но стоит лишь открыть книгу на языке неродном и не вполне знакомом, как между нами и описанным миром возникнет преграда в форме того же самого слова. Нужно обращаться к слова-

рю, отыскивая отдельные его значения и оттенки. А сколько подвохов в инверсиях, в сходных по написанию, но разных по смыслу словах, в столь обычных у больших писателей отклонениях от нормативов! И чем богаче язык, чем сложнее писатель, тем нам труднее.

Одного-двух значений довольно для обиходного общения, но в литературе нужны все значения, вся семантика слова сразу; здесь важно то, что следовало бы назвать смысловой радугой слова.

Малознакомый и тем более незнакомый язык непрозрачен и непроницаем: Япония, описанная иероглифами Кавабаты, замкнута в своем несравненном по совершенству языковом подлиннике и без перевода для неяпонцев не существует.

В свой черед, на японский язык с трудом переводится «Степь» — даже не повесть в полном объеме, а одно лишь ее заглавие. Япония стоит на островах, сеет свой рис на клочках земли, измеряемых не верстами и акрами, а крошечными величинами вроде кэна или татами. Можно дать описательное, метафорическое определение: степь — это «океан земли», «большое дикое поле» — «коо-я»; но это лишь приблизительные иносказания, не имеющие того исторического смысла, который скрыт в русском слове «степь».

«Стиль Чехова, — писал Д. Голсуорси, — похож на однообразные, ровные степи его родины. Его победа в том, что он сделал это однообразие волнующим, таким же волнующим, какой представляется прерия или пустыня тому, кто вступает в нее впервые…»[91]

Но и в родном слове есть бездна отдаленных значений, которые поневоле приходят на память при чтении; они-то Чехову и были нужны.

Поэтическая содержательность и ценность слова далеко не всегда определяется в контексте, в целой, доведенной до точки, фразе. Заглавное слово чеховской повести — «степь» — само по себе есть целый художественный мир, сохраняющий оттенки и стилистические отзвуки всех предшествующих произношений и написаний.

Едва ли в нашей литературе есть что-либо более чеховское, чем это доверие к читателю, к его душевной одаренности и уму, когда бы ни обращался он к написанному — в свежем ли журнале или в книге, через год или многие годы, через века, пока жив язык; а потом в переводах на новый язык, как Чехов читал Марка Аврелия и Сенеку, как мы читаем теперь Горация, Апулея, Катулла.

---

[91] Примечания: 91
Литературное наследство. Т. 68. С. 811.

Но почему вообще мы возвращаемся к книге, перечитываем ее новыми глазами с прежней радостью — вот вопрос, на который всегда есть множество ответов; чтение, в конце концов, дело личное, молчаливое; спросят у нас, понравилась ли нам книга, — только «да», или «нет», или «не особенно».

Мы перечитываем книгу прежде всего потому, что она позволяет нам это сделать, обладая притягательной силой, сохраняя, может быть, какую-то не разгаданную нами, но важную для нас тайну.

«Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя...» — этот афоризм Чехова известен не меньше, чем знаменитые слова о краткости, и в работах о нем приводится не реже, чем эти слова. Но ведь это не просто афоризм, а ведущая мысль, «общая идея» чеховской поэтики — и великая теорема поэтики нового времени и нового повествовательного стиля. Так понял Чехова один из далеких и, может быть, самых тонких его последователей, Дж. Б. Пристли.

«Таким образом, он очень далек от большинства наших модернистов, которые с первой и до последней главы копаются в душе своих героев. Метод Чехова несомненно и есть тот метод, которым создается подлинно художественная проза,

рассказ, как таковой, и именно этот метод, или, во всяком случае, близкий, будет применяться в лучших творениях художественной литературы будущего. Джойсы нашей литературы не открывают новой эпохи, как это думают многие. Они замыкают собой старую эпоху… Метод Чехова, где кажущаяся простая объективность положения служит тончайшей субъективности автора, дается нелегко. Под него нельзя подделаться. Тут нужен гений… То, что этот метод прививается в современной литературе, — самое большое счастье для нее».[92]

Иными словами, чеховская объективность представляет собою особую форму отношения к читателю, вовлеченному в образный мир повествования, чтобы восполнить недостающее и привнести в него то, чего в нем нет: свое личное («субъективное») видение и понимание цветов, образов, иносказаний и символов.

«Когда я точно не знаю автора, я наиболее бываю беспристрастен… и приемлю и отвергаю по

---

[92] Примечания: 92
Там же. С. 827.

чувству и по понятию моему…».[93]

Чехов подразумевал определенные литературные ассоциации, но возникнут ли они у читателя и у каждого ли из читателей они возникнут — в этом и состоит весь вопрос. Вспомним ли мы, заканчивая степное путешествие, знакомое «О Русская земле! Уже за шеломенем еси!», подумаем ли, перечитывая описание грозы, о том же «Слове»: «Что ми шумить, что ми звенить далече рано пред зорями?» или же ничего не вспомним и ни о чем не подумаем — это, быть может, важнейшая из проблем поэтики Чехова, поскольку созданные им новые формы при всем своем совершенстве и простоте остаются бессодержательными, если нам нечего в них привнести.

В чеховских образах всегда есть «нечто ускользающее от определения, но понятное взору»,[94] они «ходят по людям, как готовые сказуемые неизвестных подлежащих»,[95] — но «подлежа-

[93] Примечания: 93

Суждение принадлежит А. Ф. Лабзину (1766–1825), известному переводчику, одному из основоположников масонства в России. Цит. по кн.: Похвала книге / Сост. И. А. Шляпкин. Град св. Петра, 1917. С. 70.

[94] Примечания: 94

Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени // Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч.: В 4 т. Л., 1981. Т. 4. С. 239.

[95] Примечания: 95

Потебня А. А. Из лекций по теории словесности. Харьков, 1894. С. 114.

щих» ведь может и не быть среди читателей с иным вкусом, иным строем мыслей. Трудность не просто в том, что при чтении Чехова приходится подниматься на определенный интеллектуальный уровень, ниже которого все связи обрываются, а понимание исключено, но особенно в том, что это чтение приводит нас к сложным житейским коллизиям и проблемам, о которых хотелось бы, может быть, позабыть, оно пробуждает сознание личной ответственности и совесть, и мы говорим тогда о чеховских героях, о людях с тревожной, мятущейся совестью так, как будто эти люди — не мы…

Но, рассчитывая на читателя, Чехов должен был оставить для него какое-то пространство, создавая текст с лакунами между отдельными периодами, главками или частями, непривычный, отрывочный (почему то, а не это? почему это, а не то?); текст, удивлявший в свое время Льва Толстого как несомненный, но все же исполненный гармонии хаос. Отсюда все концепции чеховского импрессионизма и случайности, отсюда же и самая удачная среди них — «техника блоков», о которой в связи со «Степью» писал шведский

филолог-русист Н. Нильсон.[96]

Приходится думать не о частях и частностях, но об особенных свойствах чеховской прозы, о ее краткости, оставляющей простор для воображения и памяти, о «белом тексте» между отдельными рассказами, позволяющем чувствовать связанность и единство повествования, об открытых финалах, о безответных вопросах в конце, как в «Доме с мезонином» («Мисюсь, где ты?»), как в «Степи», в «Даме с собачкой», и — в прямой или косвенной форме — едва ли не везде; о стилевой простоте чеховской фразы, в которой всегда чувствуется нехватка определений, и наше воображение пополняет ее в меру своей собственной содержательности и глубины.

Закрытая книга — предмет неодушевленный; чтение — это, в сущности, превращение мертвой материи печатных строк в живую энергию воображения, в сознание переживаемой заново жизни. Книга создает нас, это так; но она и сама создается нами. В конце концов, мы выносим из нее не больше и не меньше того, что сами в состоянии вложить в ее текст силою нашей памяти, вдумчивости и душевной тревоги.

---

[96] Примечания: 96

Nilsson N. A. Studies in Cechov's Narrative Technique «The Steppe» and «The Bishop». Stockholm, 1968.

Егорушка — эхо всех воспоминаний о детстве, какие возникают у читателя при чтении «Степи», эхо нашего детства, и, поскольку мы, взрослые, знаем уже ответ на вопрос, которым Чехов закончил свою повесть и который каждый из нас задавал себе: «Какова-то будет эта жизнь?», не остается места и для вопросов об авторском голосе.

«Конечно же, так оно и было во все времена. Если текст не просто сообщает нам нечто обыденное и написан не ради пользы, какую он заключает в себе в простейших утилитарных своих применениях, если слово в нем выступает как символ со всей его безграничной содержательностью и поэзией, начинается распад прямых связей между писавшим и читающим: здесь голос автора уходит от своих истоков и движется к собственной смерти. Так возникает текст. Мы знаем: голос автора — это миф, который разрушается с появлением книги в печати; и, если у книги есть будущее, миф разрушается раз и навсегда. Рождение читателя достигается ценою смерти автора в созданном им тексте».[97]

Когда Потебня говорил, что образ ходит по лю-

[97] Примечания: 97

Барт Р. Смерть автора // Barthes R. Image. Music. Text. Oxford, 1982. P. 142.

дям, как сказуемое в поисках своих подлежащих, когда Чехов заметил: «Не мысль рождает образ; наоборот, живые образы рождают мысль», — оба они подразумевали то, что позднее швейцарский философ и психолог К.-Г. Юнг (1875–1961) назовет архетипом.[98]

Здесь нет нужды входить в подробности: достаточно сказать, как понимается в отношении к чеховской «Степи» термин «архетип». Лучше всего пояснить это, сославшись на страницу воспоминаний о М. Зощенко, разобранную недавно А. Д. Синявским. Это хороший образец применения отвлеченной философской терминологии к живой литературе:

«Как-то зашел разговор о чрезвычайно популярном на Западе, введенном Юнгом, понятии „архетип“... Если его перевести на обыденный язык... то нужно прийти к выводу, что на уровне подсознательного... все люди наполнены архаическим, существующим еще со времен среднего палеолита психическим слоем, порождавшим когда-то мифы, а сейчас — художественные произведения. Я не могу теперь точно воспроизвести

[98] Примечания: 98

Подробнее об архетипе см.: *Аверинцев С. С.* Аналитическая философия К.-Г. Юнга и закономерности творческой фантазии // О современной буржуазной эстетике. М., 1972. Вып. 3.

мысли Зощенко, но они поразили меня своим изяществом. Зощенко считал, что писатель должен описывать в человеке не только личное, но и „родовое“, то, что в его психике отложила история...»[99] Вот характерные примеры первообразов — архетипов — в тексте «Степи»:

«Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами — стоит только хорошенько встряхнуть головой — исчезают бесследно...»; «широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные, причудливые образы...»

Сам по себе архетип («первообраз») не предлагает читателю никакого «готового» содержания, никакой житейской морали, ни даже особого смысла; он скорее «ищет» в читателе свое содержание, подобно тому как магнит «ищет» в пустой породе металл, — и находит его, если, конечно, он есть в породе. Архетип в тексте — это всего лишь

---

[99] Примечания: 99

Синявский А. Мифы Михаила Зощенко // Вопр. лит. 1989. № 2. С. 50.

слово, часто одно-единственное, или даже всего лишь звучание слова, способное настроить нас на нужный лад и дать этому настроению форму.

Чехов совершенно ясно представлял себе — не только как художник, но как врач, знавший биологию и генетику, что образы такого ранга наследственно передаются из рода в род от бесконечно далеких предков, как об этом и сказано в рассказе «Мечты» (1886): «Сотские рисуют себе картины вольной жизни, какою они никогда не жили; смутно ли припоминают они образы давно слышанного, или же представления о вольной жизни достались им в наследство вместе с плотью и кровью от далеких вольных предков, Бог знает!» (С., 5, 402).

Архетипы связаны с определенными словами или сочетаниями слов, им свойственными или присущими. В этом смысле можно говорить о свойствах слов и словосочетаний. Например, заглавному слову чеховской повести — «степь» — не соответствуют никакие современные значения, поскольку невозможно ни создать, ни даже вообразить себе некую «новую» степь, степь-новостройку; те пустоши, которые возникают в итоге экологических катастроф, так и называются — «пустоши», «пустыри»… Но историчными (точ-

нее, архаичными) будут все образы и все слова, которые останутся в нашей памяти от детского или школьного чтения, от лично пережитого за наш скоротечный век; степь — это «печенеги», «половцы», курганы, каменные бабы, коршуны, музейные экспонаты; это «Слово о полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха»: «Како небо устроено, како ли солнце, како ли луна, како ли звезды, и тма, и свет…»

Столь же архаично, далее, и словосочетание «вишневый сад», поскольку оно олицетворяет память об отошедших поколениях, о тех, кто готовил почву, выращивал саженцы и потом высаживал и выхаживал их, оберегал от утренников, от сглаза, от зайцев, объедающих кору: «Неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов…» и т. д. (С., 13, 227).

Самый образ дерева по-своему летописен, поскольку дерево ведет счет годам, наслаивая год за годом кольца вокруг сердцевины. Дерево, и быть может вишневое дерево в особенности, олицетворяет и символизирует прошлое; в сущности, нельзя по-русски сказать так, как говорит чеховская Аня: «Мы насадим новый сад» (конечно,

молодой, а не новый), поскольку «новый сад» — это какое-то нелепое «новое прошлое», столь же невозможное и ненужное, как «новая степь»...

Но, кроме того, «сад» — одно из очень немногих, быть может даже единственное в своем роде, слово, не имеющее в нашем языке никаких отрицательных или сомнительных значений; это, по-видимому, абсолютный положительный смысловой полюс русского словаря. И напротив, такие словосочетания, как «ударить по дереву топором», «подрубить корни», выражают высшую степень безнравственности и безрассудства.

«Тот, кто говорит архетипами, — писал Юнг, — подымает изображаемое им из мира единократного и преходящего в сферу вечного; притом же и свою личную судьбу он возвышает до всечеловеческой судьбы и через это высвобождает также и в нас благотворные силы, которые во все времена давали человечеству возможность выдерживать все беды и пережидать даже самую долгую ночь. В этом — тайна воздействия искусства».[100]

Истинным архетипом в чеховской повести является сама степь — великая родоначальница нашей истории, пристанище всех наших былей и

---

[100] Примечания: 100

Лит. энциклопедия. М., 1975. Т. 8. С. 1019. Пер. С. С. Аверинцева.

небылиц. «Дед, великаны!» — кричит Егорушка в грозовую ночь, и голос его тонет в раскатах грома. Нет, не сказки няньки-степнячки, не картинки из книжки — эти образы от рождения существуют в подсознании чеховского мальчика как его душевное наследство и приходят ему на ум «сами собою», как только оказываются в своей стихии: «и как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали!»

Чехов вернется к ним еще раз в самом конце жизни, подтверждая их родовую значительность:

«Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами…» («Вишневый сад», 1904. С., 13, 224).

И. Г. Птушкина

В. М. КОНАШЕВИЧ — ИЛЛЮСТРАТОР ЧЕХОВА

Художник-график Владимир Михайлович Конашевич (1888–1963) известен более всего как замечательный иллюстратор детской книги; его художественный мир входит в сознание современного человека с самых ранних лет жизни вместе с книгами, когда ребенок сам еще не читает, а только слышит слово. Между тем Конашевич, окончивший Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где он учился в 1908–1913 гг. у К. А. Коровина, С. В. Малютина, Л. О. Пастернака, обратил на себя внимание как талантливый иллюстратор русской классической литературы (он иллюстрировал произведения Пушкина, Тургенева, Достоевского и др.). Приметным явлением стали его рисунки к сборнику «Стихотворения А. А. Фета» (Пб., «Аквилон», 1922), для которого он сам «отобрал стихи и нарисовал к ним рисунки». Художник Д. И. Митрохин отметил в своих воспоминаниях (1964) это издание, как первое, где у Конашевича «счастливо слились

иллюстрации с текстом».[101]

Обращение к иллюстрированию произведений Чехова было для В. М. Конашевича вполне естественным и органичным.[102] И дело не только в том, что Чехов был одним из его самых любимых писателей. В письме К. И. Чуковскому Конашевич как-то отметил (октябрь 1943 г.): «Чехова я очень люблю <...> в литературе есть четыре человечка, которые почему-то мне ближе других. Это Диккенс, Толстой, Чехов и Ан. Франс» (С. 307). Воспоминания художника «О себе и своем деле» пронизаны глубоким знанием произведений Чехова (автор предисловия к книге Ю. А. Молок, в частности, свидетельствует, что художник «помнил наизусть целые страницы» из Чехова). Конашевич постоянно обращается к

---

[101] Примечания: 101

См.: *Конашевич В. М.* О себе и своем деле. С приложением воспоминаний о художнике. М.; Детская литература. 1968. С. 417 (далее отсылки к этому изданию даются в тексте с указанием страницы).

О творческом пути Конашевича см. прекрасно иллюстрированную и превосходно изданную обстоятельную и глубокую монографию Ю. Молока «Владимир Михайлович Конашевич» (Л.; Художник РСФСР, 1969).

[102] Примечания: 102

Отдельные издания повести Чехова, кроме Конашевича, иллюстрировали художники И. Л. Бруни (М.; Гослитиздат, 1956; акварели Бруни хранятся в Государственном литературном музее), А. С. Мосин (Ростов н/Д, 1977; гравюры), Е. Ларская (М.; Современник, 1989), а также С. Бойма, Е. Хруслов и др. Решая вопрос об иллюстрировании настоящего издания, мы остановили свой выбор на графике Конашевича, желая показать давно не воспроизводившиеся и заслуживающие самого

пристального внимания работы.

чеховским персонажам: под его пером они порою оживают, дополняя портретные характеристики действующих лиц его воспоминаний («Драма», «Событие» и др.), или существуя как типы («Человек в футляре»). Несомненно, художественное воздействие поэтического мира Чехова сказалось и в описании Конашевичем «уфимских степей», по которым ему довелось проезжать подростком. «Степь — без куста, без деревца — стелется однообразным пространством, замыкаясь к горизонту цепью невысоких холмов…» (С. 91); «…мне давно уже все мерещатся уфимские степи. Густой-густой воздух, от которого все клонит ко сну; ветерок, пришедший издалека, — так и чувствуешь, что он дальний-дальний, тихо вея, перебирает засохшие травы, обнажая совсем выжженные солнцем полянки, по чернозему которых ходят <…> непуганные кронштепы» (С. 90; см. также с. 94–95).

Главное, чем близок Чехов художнику Конашевичу, это стилевая манера писателя. «Убежден, что в искусстве как раз то только ценно и действенно, что выражено сжато и кратко, — утверждал художник. — В своем искусстве <…> я всегда стремлюсь к такому уплотнению. И в литературе я люблю такую же предельную сжатость. За это

именно я особенно чту Чехова, у которого сама форма так скупа и лаконична, что тупому взгляду, не видящему за нею богатства содержания, вся постройка кажется легковесной» (С. 126). Может показаться, считает Конашевич, что лаконизм Чехова, особенно в начертании пейзажа, порою мешает его восприятию. Так произошло у самого художника, когда он читал, например, рассказ «Поцелуй»: «Там с обычным для Чехова лаконизмом начертан пейзаж <…> Прочел, перечел, еще раз прочел — и не почувствовал пейзажа совсем, не возникает перед глазами, и все тут! Я же знаю, что Чехов никогда не говорит пустых или неточных слов и не пишет о том, чего не видел и не чувствовал! Виноват, значит, я!» Конашевич попытался представить себе этот пейзаж написанным Левитаном, «все сразу стало на свое место: пейзаж возник передо мной полнокровный, ясный» (С. 28–29). Задача художника — проникнуть в художественный мир писателя, подняться до его высоты.

В лаконичности формы и словесного и изобразительного искусства Конашевич видел особую магическую силу, требующую от читателя и зрителя вдумчивого, серьезного обдумывания или созерцания: «Произведение, изложенное

лаконично, надо читать или смотреть активно, творчески, внимательно взглядываясь в каждую черту, разгадывая намеки и пополняя недосказы» (С. 127).

В статье «Некоторые мысли о приемах иллюстрирования книги» (1935) Конашевич сформулировал принципы, которым он следует в своей работе художника-иллюстратора. Основной принцип он определяет так: «Направление, по которому идет иллюстратор в своих рисунках, должно точно совпадать с основной линией рассказа, точно следовать развитию фабулы» (С. 198). В случаях «полного совпадения линии, проводимой художником, с линией текста <…> художник смотрит глазами автора» и добивается «полного проникновения в эпоху и обстановку рассказа», следует тем самым «внутренней правде литературного произведения» (С. 199). «Самое трудное» для иллюстратора установить «количественную нагрузку материалом рисунка в связи с литературными приемами иллюстрируемого текста». «Вот пример: Чехов. Более скупого на слова, на „описание“ героев и обстановки писателя трудно придумать. К такому тексту рисунки должны быть лаконичны, не перегружены материалом» (С. 200, 201).

Конашевич разделял писателей на тех, «которых иллюстрировать не так уж трудно», и таких, «к которым никак не подберешься» (С. 206). К писателям первого рода — в них «есть что-то от дара живописца» — художник относил, например, Толстого и Тургенева. «Таких авторов <…> которым так „дана“ эта внешность мира и которые склонны идти от нее вглубь, к психологии героя, — таких авторов иллюстрировать легче». Писатели второго рода «очень мало говорят о внешности своих героев и вообще о внешнем». «Таков, например, Чехов. В его даровании очень мало от дарования живописи. И это не в ущерб яркости и убедительности его образов. Он только создает свои образы другим путем, идя изнутри. И художнику приходится копаться где-то внутри, в психологии, что ли, героев и оттуда выходить к их внешней оболочке — без указаний, без поддержки автора. Такие чисто литературные дарования создают для художника-иллюстратора иногда непреодолимые трудности» (С. 207).

Очевидно, эти размышления родились в процессе работы над иллюстрациями, которые художник создавал в самом конце 1920-х годов.

В 1930 г. отдельным изданием вышла повесть Чехова «Степь» с иллюстрациями Конашеви-

ча.[103] В книге воспроизведено шесть гравюр на дереве, одна из них на обложке (все они представлены в настоящем издании, почти в размер подлинника). Оригиналы их находятся в фондах Литературного музея Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.[104]

Эти гравюры создавались Конашевичем в 1929 г. Думается, что такая техника иллюстрирования повести Чехова была для Конашевича неслучайной. Идя в оформлении книги от традиций художников «Мира искусств» (Конашевич очень высоко ставил эти традиции, считая, что работами художников этой группы, в которую он сам входил, в начале XX века началось «возрождение искусства книги» в России (С. 236–237), стремясь к созданию наиболее близкого к тексту Чехова изобразительного ряда, Конашевич избрал технику гравюры, которая дала

---

[103] Примечания: 103

Чехов А. Степь. Гравюры на дереве В. Конашевича. М.; Л.; Гос. изд-во, 1930. Книга напечатана в Ленинграде в Гос. тип. им. Евг. Соколовой тиражом 10 тыс. экз. и теперь является библиографической редкостью (экз. книги хранится в Отделе редких книг РГБ).

[104] Примечания: 104

ИРЛИ. Г — I. № 73504-73509. (До 1950 г. гравюры эти хранились в Институте мировой литературы им. А. М. Горького РАН).

Искренне благодарю дочь Конашевича Ольгу Владимировну Чайко, которая указала, где в настоящее время хранятся гравюры и рисунки ее отца.

ему возможность передать прежде всего ритм чеховского повествования. Поэтому иллюстрируются не жанровые, бытовые сцены повести (они станут объектом изображения в рисунках, выполненных в другой технике), а воссоздается прежде всего пейзаж: перспектива степных далей, освещенных восходящим солнцем, очертания движущегося в темноте ночи обоза, линии показавшегося в вечерних сумерках постоялого двора, хутор на горизонте, «громадная гора, усеянная домами и церквами», — все это объединяется единым понятием — родина, адекватным художественной идее Чехова.

В начале 1930-х годов вышли еще две книги Чехова с иллюстрациями Конашевича[105] (они были выполнены художником в 1929 и 1933 гг.). Для издания 1931 г. было сделано 32 иллюстрации черной тушью пером, в том числе два жанровых

[105] Примечания: 105

Чехов А. П. Избранные сочинения. М.; Л.; ГИХЛ, 1931. (Редакция Б. Томашевского и К. Халабаева, вступ. статья Н. Яковлева, примечания С. Балухатого. Рисунки В. Конашевича. Книга напечатана в Ленинграде в 8-й тип. ОГИЗ'а РСФСР «Красный печатник»); Чехов А. П. Мужики, и другие рассказы. Подготовка текста и комментарии И. С. Ежова-Беляева. М.; Л.; Academia, 1934. (Иллюстрации, переплет и суперобложка В. М. Конашевича). Для этой книги Конашевич сделал 16 иллюстраций пером, в технике тонированного рисунка.

рисунка к «Степи».[106] На первом рисунке изображена встреча на постоялом дворе (гл. III), второй рисунок воссоздает эпизод у костра (гл. V).

Иллюстрации для однотомника 1931 г. созданы в технике линейного рисунка. Объясняя в одной из своих поздних заметок («Реплика на статью А. Гончарова»),[107] в чем преимущества этой манеры иллюстрирования, Конашевич замечал, что линейный рисунок всегда «естественнее входит в общий организм книги, чем всякий иной» (С. 242). Такой рисунок, по мысли художника, непременно должен быть содержателен и выразителен, и этого ему вполне удалось достичь при иллюстрировании Чехова. Характеризуя рисунки Конашевича 1929 г. к Чехову, Ю. А. Молок пишет: «…Рисунки Конашевича к Чехову прежде всего убеждают своей достоверностью <…> Внимательный к сюжету, к обстановке, в которой протекает жизнь чеховских героев, он вместе с тем избегает всякой перегруженности своих рисунков, чтобы не утерять связи с манерой чеховского письма.

[106] Примечания: 106

Оригиналы этих двух рисунков, вместе с другими иллюстрациями Конашевича к произведениям Чехова, вошедшими в издание 1931 г., хранятся: первый — в Литературном музее ИРЛИ (р. 1/4-563, № 58424), второй — в Государственном русском музее (№ 10705).

[107] Примечания: 107

Творчество. 1961. № 1.

Быстрая прерывистая линия, тонкая штриховка: каждое изображение характеризовано точной и в то же время как бы короткой фразой. Обаяние этих рисунков не только в достоверности пусть и лаконичного бытописания. Обстановка, детали не заслоняют остро очерченных образов».[108]

Вспоминая свои иллюстрации, созданные в жанре линейного рисунка (в том числе к «однотомнику Чехова» 1931 г.), Конашевич подчеркивал, что создавались они в 20-е годы: это была «пора, еще близкая к эпохе импрессионизма» (С. 243).

Но эти рисунки «забыты», — в этом сознается и сам художник. От нас можно добавить: к сожалению, забыты. Иллюстрации Конашевича к Чехову — значительнейшая веха в русской графике.

К. И. Чуковский писал о В. М. Конашевиче (1966), что он был «одним из самых образованных советских художников, для которого литература — родная стихия»; потому ему удались «проникновенные иллюстрации к античным авторам, к тургеневской „Первой любви“, к Фету и Чехову» (С. 296). По словам В. А. Фаворского, при иллюстрировании произведений Чехова главным

---

[108] Примечания: 108
Молок Ю. Указ. соч. С. 130.

для Конашевича становилась «передача общего настроения, общего стиля вещи» (С. 393).

ПРИМЕЧАНИЯ
СТЕПЬ
(История одной поездки)

«Степь» была опубликована в мартовском номере петербургского журнала «Северный вестник» за 1888 г.

Рукописи повести не сохранились.

Историю создания «Степи» подробно комментируют письма Чехова к разным лицам за январь-февраль 1888 г.: В. Г. Короленко, Д. В. Григоровичу, Я. П. Полонскому, А. Н. Плещееву, И. Л. Леонтьеву (Щеглову), Ал. П. Чехову, М. В. Киселевой, А. С. Лазареву (Грузинскому), Г. М. Чехову, Ф. О. Шехтелю (П., 2, 166–199).

3 февраля 1888 г. рукопись была отправлена в Петербург; 25-м февраля помечено цензурное разрешение № 3 журнала «Северный вестник», а в начале марта книжка журнала увидела свет.

В марте-апреле 1888 г., готовя для издания А. С. Суворина сборник «Рассказы», Чехов включил в него «Степь».

В сборник повесть вошла почти без изменений. Автор внес лишь несколько стилистических

поправок (например, «Константин» вместо «Констянтин» — в речи персонажа), добавил одну фразу к репликам старика-чабана («Никак нет»), и главное, изменил заглавные буквы в названии города и губернии («Из N., уездного города Z-ой губернии» — вместо первоначального: «Из М., уездного города С-ой губернии»); соответственно изменилось: «N-ских обывателей», «N-ский купец» — вместо: «м-ских обывателей», «м-ский купец». Была устранена возможность отождествить город, описанный в «Степи», с реальным русским городом. Такую ошибку совершил критик Н. Ладожский (В. К. Петерсен); подразумевая под «городом М.» один из городов Саратовской или Самарской губернии, он прямо полагал, что в повести Чехова изображена волжская степь и «губернский город на Волге».[109]

Небольшие поправки были сделаны во втором, четвертом, седьмом и десятом изданиях сборника. Например, в речи Пантелея: «Ты, Егоргий, теперя махонький» — в седьмом издании было заменено: «Ты, Егоргий, теперь махонький», а в десятом издании появилось окончательное: «Ты, Егорий, теперь махонький»; «собрались

[109] Примечания: 109

Ладожский Н. Критические наброски // С.-Петербургские ведомости. 1888. 11 марта.

мужички» во втором издании заменено: «собрались мужики»; в речи Дымова вместо «отседа не видать» стало «отсюда не видать».

Готовя в 1899 г. «Степь» для собрания сочинений, Чехов несколько сократил повесть: было снято в общей сложности около 90 строк (более двух страниц) текста.

Опускались строки с описанием переживаний, снов, раздумий Егорушки (главный герой повести ведь не мальчик, а сама степь — как вишневый сад в последнем создании Чехова).

Вот эти снятые автором тексты.

В гл. I (конец главы):

> «Маханье крыльев, зной и степная скука овладели всем существом Егорушки. Он застыл и окоченел, как коченеют от мороза, ни о чем не думал, ничего не ждал и изо всех сил старался не глядеть на мельницу…»

В гл. II:

> «послушал он еще немного и почувствовал, что от песни что-то похожее на тошноту сдавило его грудь и что мозг его начал цепенеть, как раньше от маханий

мельничных крыльев…»

И дальше:

«Он заткнул пальцем отверстие трубочки; послушная вода перестала течь, картавить и играть на солнце; он отнял палец, и вода, как ни в чем не бывало, картавя и журча, побежала из трубочки. Дав ей потечь немного, он опять заткнул отверстие. Ничего в этом занятии не было интересного, но оно так овладело им, что на лице его появилось выражение деловой сухости, и он не заметил, как прошло десять минут».

«Проводив его глазами, Егорушка сел на землю и весь отдался неприятному чувству тошноты, которое возбуждали в нем зной и песня».

«Егорушка, со своей тошнотой, с чувством горячего железа на затылке…»

В гл. III вычеркнут целый абзац с описанием сна Егорушки:

«И мало-помалу монотонный голос Мойсей Мойсеича перешел в журча-

нье. Не понимая уж больше ни слова, Егорушка не шевелился и глядел на Тита, который, откуда-то взявшись, стоял перед ним и надувал свои пухлые щеки; слышался писк трех бекасов, прилетавших к осоке. Тит надул свои щеки, распух и пропал. Далеко-далеко замахала крыльями мельница, похожая издали на человечка, размахивающего руками; на этот раз у нее было такое же презрительное выражение, как у Соломона, и она насмешливо улыбалась своим лоснящимся крылом…»

Это прекрасная проза, но в контексте повести о степи показалась автору лишней, как и большой кусок в гл. IV:

«Под влиянием ночи Егорушка загрустил. Он думал о том, что в такую погоду хорошо ехать не учиться, а домой — ужинать и спать. И он воображал, как он едет домой, но уж не в тряской бричке, а в графининой коляске, которую он недавно видел. В коляске мягко, уютно, просторно, а главное есть где облокотиться и положить голову; он сидит рядом с графиней и дремлет, потом кладет на ее колени

руки и голову — так хорошо и удобно… Мало-помалу он засыпает, а рессорная коляска мягко шуршит по пыльной дороге, покачивается и мчится с неимоверной быстротой. Прежде чем совсем уснуть, Егорушка поднимает голову и, взглянув на лунную ночь, послушав трескотню, улыбается и опять кладет свою голову на колени ласковой, красивой дамы. А какая чудная езда! Постоялый двор Мойсея Мойсеича, мельница и бугор с ручьем давно уже остались позади. Вот знакомый тополь на холме; едва промелькнул он, как уж видны кирпичные заводы с облаками черного дыма, кладбище, где спит бабушка, кузницы, острог, а вот, наконец, и дом…

— Тпрррр!

Из дома выбегает мамаша и кухарка Людмила. Обрадованная мамаша здоровается и спрашивает шепотом: „Кто же эта дама?“ Егорушка отвечает, что это та самая графиня, у которой в гостиной стоят часы с золотым всадником. В благодарность за свое возвращение домой, он бросается графине на шею и целует ее

в глаза, в лоб, в виски… „А он не шалил дорогой?“ — спрашивает мамаша. — „Нет, — отвечает графиня, — он всю дорогу спал“. Поговоривши немного, графиня Драницкая прощается и хочет уехать, но мамаша мешает ей сесть в коляску и просит: „Будьте добры, оставайтесь у нас ночевать!“ Графиня соглашается, и Людмила бежит постлать для нее постель в гостиной на диване. А Егорушка идет к себе в детскую, бросается, не раздеваясь, в постель, и спит, спит, спит и только чувствует, как что-то острое режет его правое бедро — это еврейский пряник, который лежит в кармане. Егорушка жадно спит и улыбается от удовольствия, но вдруг над самым его ухом раздаются громкие, резкие голоса».

И наконец, в гл. V снова сокращение текста — опять в основном о Егорушке:

«Лавочник обиделся, но не выразил этого ни на лице, ни на словах, а стал молча и не спеша сыпать овес из мешка обратно в закром. Покупатель испугался, начал жалобно извиняться. А между тем

> Егорушка давно уже выпил свой стакан. Ему хотелось еще чаю, но сам он налить себе из чайника не решался. Он походил по лавке, подождал, прочитал ярлыки на ящиках; увидев же, что лавочник снова принялся насыпать в мешок овес, он крикнул „прощай“ и вышел».

Стилистическая редактура на этот раз коснулась прежде всего иноязычных слов. Устранено, например: «интонация», «репутация», «сантиментальное»; опущено: «Наглядевшись на интеллигентную парочку»; вместо «силуэты тюков» стало «темные тюки»; вместо «Финал беседы Варламова» — «Беседа Варламова».

Кропотливо редактировался язык персонажей «Степи». В речи возчика Пантелея изменено, например: «не слыхать про то» вместо «не слыхать про это»; «костей человечьих» вместо «костей человеческих»; «только, братцы, это самое, слышу» вместо «только, братцы, слышу».

Ввел Чехов ряд диалектизмов: «заплатанное» вместо «залатанное»; «осклизлом иле» вместо «скользком иле»; однако обычное на юге «не балуйся тут» заменено литературным «не балуй тут».

При жизни Чехова «Степь» печаталась 15 раз: первая публикация — в «Северном вестнике», затем в 13 изданиях сборника «Рассказы», наконец, дважды в составе собрания сочинений (изд. А. Ф. Маркса) — в т. 4-м 10-томника и затем в томе приложений к «Ниве».

Среди них нет ни одного издания без опечаток или каких-нибудь искажений авторского текста. Впервые текст «Степи» был критически выверен нами для 7-го тома Полного собрания сочинений и писем в 30 томах: (М.: Наука, 1977); этот текст воспроизводится и здесь.

ДОПОЛНЕНИЯ ИЗ ПИСЕМ СОВРЕМЕННИКОВ

1.

А. Н. Плещеев — А. П. Чехову

8 февраля 1888 г.

Впервые: Слово. Сб. 2: К десятилетию смерти А. П. Чехова / Под ред. М. П. Чеховой. М., 1914. С. 238–239. Печатается по этому тексту.

А. Н. Плещеев (1825–1893), поэт, прозаик, критик и переводчик. В журнале «Северный вестник»

был редактором беллетристического отдела. Чехов познакомился с Плещеевым в декабре 1887 г., находясь в Петербурге.

2.

И. К. Михайловский — А. П. Чехову

15 февраля 1888 г.

Впервые: Слово. Сб. 2. С. 216–217. Печатается по тексту: Переписка А. П. Чехова: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 378–379.

Н. К. Михайловский (1842–1904), литературный критик и публицист народнического направления. Чехов познакомился с Михайловским в конце 1887 г. в Петербурге. На письмо Михайловского Чехов ответил, но этот ответ не сохранился. «Я слышал, — писал Чехову А. Н. Плещеев 10 марта 1888 г., — что Михайловский писал Вам и что Вы ему маленький отпор дали, отстаивая свою независимость» (Литературное наследство. Т. 68. М., 1960. С. 311).

3.

И. Л. Леонтьев (Щеглов) — А. П. Чехову

4 марта 1888 г.

Печатается впервые, по автографу (РГБ).

И. Л. Леонтьев (псевдоним И. Щеглов, 1856–1911), литератор, автор военных рассказов, очерков, водевилей. Чехов познакомился с ним в Петербурге в декабре 1887 г. и переписывался до конца жизни.

4.

П. Н. Островский — А. П. Чехову

4 марта 1888 г.

Впервые: Балухатый С. Д. Вокруг «Степи» // А. П. Чехов и наш край. Ростов н/Д, 1935. С. 130–133. Печатается по этому тексту.

П. Н. Островский (1839–1906), брат (по отцу) драматурга А. Н. Островского, инженер, литературный критик, мало выступавший в печати. Чехов подарил ему оттиск «Степи». 22 января 1888 г. он писал А. Н. Плещееву: «Островский мне очень и очень понравился. С ним не только не скучно, но даже весело… Да, он годился бы в критики. Он имеет хорошее чутье, массу читал, по-видимому, очень любит литературу и оригинален» (П., 2, 183).

5.

Ал. П. Чехов — А. П. Чехову

4 марта 1888 г.

Впервые: Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. М., 1939. С. 197–198. Печатается по этому тексту.

Ал. П. Чехов (1855–1913), старший брат Чехова, литератор, с конца 1886 г. служил в редакции газеты «Новое время».

6.

И. А. Лейкин — А. П. Чехову

5 марта 1888 г.

Впервые: Балухатый С. Д. Вокруг «Степи». С. 127. Печатается по тексту: П., 2, 461.

Н. А. Лейкин (1841–1906), писатель-юморист, с 1882 г. редактор-издатель журнала «Осколки», где до 1887 г. печатался Чехов.

7.

М. — А. П. Чехову

9 марта 1888 г.

Отрывок: С., 7, 635–636. Полностью печатается впервые, по автографу (РГБ).

Автором этого письма, судя по почерку, была, возможно, Л. С. Мизинова (1870–1937), близкая приятельница М. П. Чеховой по службе в гимназии Л. Ф. Ржевской. Чехов познакомился с Мизиновой в конце 1889 г.

8.

А. Н. Плещеев — А. П. Чехову

10 марта 1888 г.

Впервые: Литературное наследство. Т. 68. М., 1960. С. 312. Печатается по этому тексту.

9.

А. Н. Плещеев — А. А. Плещееву

6 апреля 1888 г.

Впервые: П., 2, 475. Печатается по этому тексту.

А. А. Плещеев (1858–1944), сын поэта, драматург и литературный критик.

10

А. А. Плещеев — А. П. Чехову

1 апреля 1888 г.

Впервые: А. П. Чехов и наш край. С. 128. Печатается по этому тексту.

11.

А. Н. Плещеев — А. П. Чехову

14 апреля 1888 г.

Впервые: Слово. Сб. 2. С. 245. Печатается по этому тексту.

12.

Д. В. Григорович — А. П. Чехову

8 октября 1888 г.

Впервые: Слово. Сб. 2. С. 212. Печатается по этому тексту.

С писателем Д. В. Григоровичем (1822–1899) Чехов познакомился в декабре 1885 г., когда впервые приехал в Петербург. 4 января 1886 г. Чехов писал старшему брату: «Я был поражен приемом, который оказали мне питерцы: Суворин, Григорович, Буренин… все это приглашало, воспевало… и мне жутко стало, что я писал небрежно, спустя

рукава» (П., 1, 177).

13.

О. Г. Галенковская — А. П. Чехову

1 января 1889 г.

Впервые (отрывки): С., 7, 638–639; П., 3, 376–377. Полностью публикуется впервые, по автографу (РГБ).

О. Г. Галенковская — сотрудница иллюстрированного журнала для детей «Родник», выходившего с 1882 г. в С.-Петербурге.

14.

Ф. А. Червинский — А. П. Чехову

1891 или 1892 г.

Впервые: С., 7, 642. Печатается по этому тексту.

Ф. А. Червинский (1864–1917), петербургский адвокат и литератор. Посвятил Чехову свою трехактную стихотворную комедию «В глуши» («Птенец»), напечатанную в 1891 г. в «Северном вестнике» (№ 5).

15.

А. И. Эртель — А. П. Чехову

25 марта 1893 г.

Впервые: С., 7, 637. Печатается по этому тексту.

А. И. Эртель (1855–1908), писатель, автор романа «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» (1889). Чехов познакомился с ним в марте 1893 г. на обеде у редактора-издателя «Русской мысли» В. М. Лаврова.

16.

Х. Н. Абрикосов — И. А. Абрикосову

27 января 1903 г.

Впервые: Летописи Государственного литературного музея. М., 1948. Кн. 12. С. 441. Печатается по этому тексту.

Х. Н. Абрикосов познакомился с Л. Н. Толстым в 1898 г., стал его близким другом. Он — автор воспоминаний «Двенадцать лет около Толстого».

Отец и сын Абрикосовы были в Ясной Поляне также 26 июля 1905 г., когда шел разговор о статье Д. С. Мережковского «Свирель Антона Бедного (Памяти Антона Чехова)», появившейся 24 июля

в газете «Русское слово». Приведя описание грозы из повести «Степь», Мережковский хвалил «его простоту, которой не достигали ни Тургенев (мало старался), ни Толстой (слишком старался), и его несравненное искусство описывать природу» (Маковицкий Д. П. У Толстого. 1904–1910: Ясн. — Полянские записки // Литературное наследство. Т. 90, кн. 1. М., 1979. С. 353).

СОДЕРЖАНИЕ

СТЕПЬ (История одной поездки) 5
ДОПОЛНЕНИЯ
Из писем современников 141
ПРИЛОЖЕНИЯ
От редколлегии 165
М.П. Громов. "Степь" как литературный памятник 167
И.Г. Птушкина. В.М. Конашевич-иллюстратор Чехова.. 268
Примечания (*Составитель* М.П. Громов) 277

ЧЕХОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ

СТЕПЬ

(История одной поездки)

Утверждено к печати
Редакционной коллегией серии "Литературные памятники" РАН

Заведующая редакцией "Наука — культура" *А.И. Кучинская*
Редактор *А.Н. Торопцева.* Художественный редактор *Н.Н. Михайлова*
Технический редактор *З.Б. Павлюк*
Корректоры А.Б. Васильева, А.В. Морозова

Набор выполнен в издательстве на компьютерной технике

ИБ № 1582

ЛР № 020297 от 27 ноября 1991 г.

Подписано к печати 21.03.95. Формат 70×90 1/32.
Гарнитура таймс. Печать офсетная
Усл.-печ.л. 10,95. Усл.кр.-отт. 12,6. Уч.-изд.л. 12.1
Тираж 2350 экз. Тип. зак. 2611

Издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва В-485. Профсоюзная ул., 90
Московская типография № 2 РАН
121099, Москва Г-99, Шубинский пер., 6